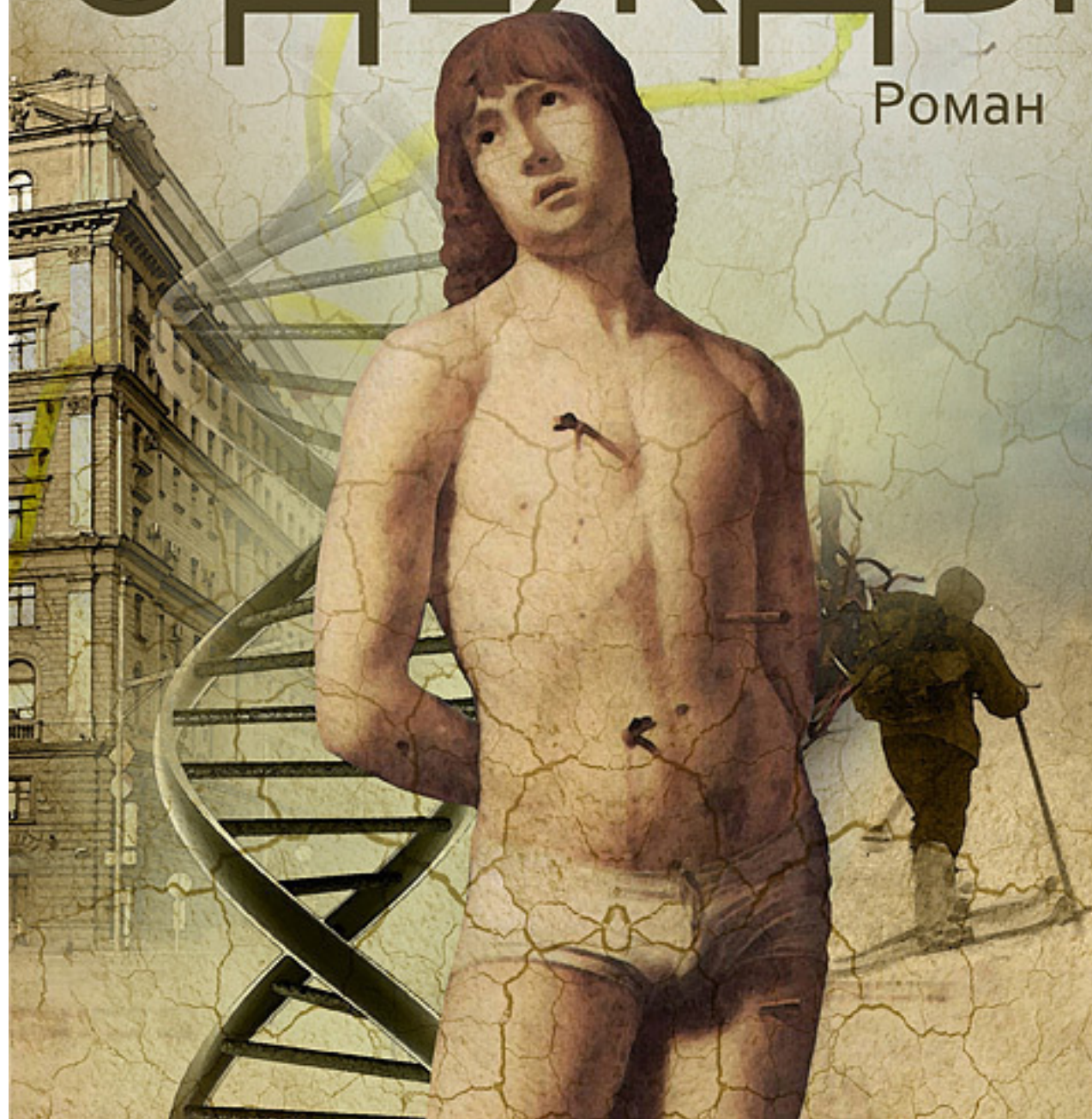


В. Дудинцев

БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ

Роман



Владимир Дудинцев

Белые одежды

«АРДИС»

1986

Дудинцев В. Д.

Белые одежды / В. Д. Дудинцев — «АРДИС», 1986

ISBN 978-5-389-05798-2

Роман Владимира Дудинцева «Белые одежды» посвящён периоду «лысенковщины» в советской биологической науке, когда генетика была объявлена идейно-враждебным течением, а «официальной наукой», одобренной партийным руководством, стали научные воззрения академика-агронома Трофима Лысенко. Главный герой молодой биолог Фёдор Дежкин приезжает в небольшой город с заданием проследить за работой сельскохозяйственного института в связи с информацией о существовании там подпольной организации вейсманистов-морганистов. Дежкин быстро понимает, что истина на стороне опальных учёных и становится в их ряды. Он совершает свой нравственный выбор и, мужественно встречая трагические испытания, остаётся верным делу своей жизни. Книга Владимира Дудинцева — не только о верности науке. Она — о преданности своим убеждениям и своему человеческому долгу, о чести и достоинстве, бескорыстии и самоотречении, о поиске истины и ответственности за выбор собственного пути. Роман «Белые одежды» увидел свет в 1986 году, через тридцать лет после написания, и сразу стал вехой в истории современной русской литературы. В 1988 году он был удостоен Государственной премии СССР.

ISBN 978-5-389-05798-2

© Дудинцев В. Д., 1986

© АРДИС, 1986

Содержание

Первая часть	5
I	5
II	19
III	34
IV	45
V	58
VI	75
VII	91
Конец ознакомительного фрагмента.	98

Владимир Дудинцев

Белые одежды

Н. Л. и А. А. Лебедевым.

*Сии, облеченные в белые одежды, –
Кто они и откуда пришли?
Откровение Иоанна Богослова, 7, 13.*

Первая часть

I

Стоял тихий сентябрь. Воскресное утро, может быть, последнее ласковое утро уходящего лета, тихо, как младенец, играло солнечными пятнами и тенями. Громадный институтский парк дремал, раскинувшись на двух холмах, которые здесь назывались Малой Швейцарией. Он был весь разбит поперечными и продольными аллеями на правильные прямоугольные клетки. С одной стороны в конце каждой поперечной аллеи светилась пустота, там угадывался провал, и оттуда, из легкой дымки, иногда доносился низкий рев парохода. Там была река. С противоположной стороны вдалеке среди зелени мелькали розовые стены корпусов Сельскохозяйственного института.

Вдоль главной – Продольной – аллеи, которая шла почти по краю провала, сидели на решетчатых скамьях студенты с книгами. Уже начался учебный год. Далеко внизу между деревьями прыгал волейбольный мяч, время от времени аллею пересекал бегун в синем обтягивающем трико или в трусах – студент или жилистый профессор.

По этой чисто подметенной аллее между двумя рядами старых лип брел в это утро и поглядывал по сторонам человек в клетчатой, ржавого цвета ковбойке с подвернутыми рукавами и в светло-серых тонких брюках. Был он лет тридцати, невысокий, узкий в поясе, шел, сложив руки за спиной. Широкое, но худощавое лицо его с довольно заметным внимательным носом было подвижно, русая бровь иногда поднималась с изгибом – и это говорило о привычке постоянно размышлять, свойственной некоторым ученым. Была в его лице особенность: резко выделенный желобок на верхней губе переходил и на нижнюю и заканчивался глубокой кривой ямкой на подбородке – получалось, что нижняя часть лица как бы перечеркнута этой отчетливой вертикалью. Шаги этого задумчивого человека были неторопливы, и тем не менее он догнал и оставил за собой двух странных пожилых бегунов – мужчину и женщину, обтянутых синими шерстяными трико, и в белых кедах. Пара эта бежала трусцой, то есть топталась почти на месте. У мужчины розовый пробор проходил сразу же над ухом, жидкие желтовато-седые волосы прикрывали плешь. Старость цепко держала его в когтях. У женщины спортивный костюм выдавал непропорционально распределенную полноту: все ушло в верхнюю часть широкого, без перехвата, корпуса, в широкие плечи. От нее веяло волей и слегка глупостью.

Они вели беседу. Когда человек в ковбойке, узнав мужчину и поджав локоть, с почти-тельным поклоном огибал их, бегун посмотрел на него, полуочнувшись, и продолжал свою речь:

– Он фиксирует по Навашину. Двенадцати часов достаточно... Ему нужно быстро – тысячи гибридов, и все проверь...

Женщина сказала:

– На его микротоме можно получить срез на толщину клетки. Хорошо хромосомы считать. На помойке подобрал нами же списанные части, отремонтировал сам – и пожалуйста... Мог и ты ведь...

– Не так просто. Все в микрометрическом винте. Он заказывал винт в Москве у какого-то мастера...

И человек в ковбойке сразу понял, о чем они говорили. Это были цитологи – специалисты по исследованию растительных клеток. От их разговора чуть-чуть потянуло и вейсманизмом-морганизмом, который месяц назад был торжественно осужден на августовской сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук. Шевельнув бровью, человек в ковбойке быстро оглянулся на бегунов, легко поклонился мужчине и опять не был замечен.

Потом он долго шел по аллее, размышляя о своих делах, которых было много. Аллея вывела его на лысый бугор, к его вершине, где была вкопана в землю простая лавка, и человек сел на нее – лицом к горящему внизу под солнцем разливу реки, к синим бугристым далям за рекой: там синела Большая Швейцария.

Этот человек имел отношение к науке о растениях и знал много разных вещей. Знал, например, что есть такое понятие: спящая почка. У яблони ее не видно, но садовник умелой обрезкой дерева может заставить ее пробудиться, и тогда на гладком месте вдруг выстреливает новый побег. Старый знакомый человека в ковбойке селекционер-садовод Василий Степанович Цвях, любитель затейливо мыслить, однажды сказал ему, что и у человека бывает что-то похожее на это явление. Ты можешь прожить долгую жизнь и даже отойти в лучшие миры, так и не узнав, кто ты – подлец или герой. А все потому, что твоя жизнь так складывается – не посылает она испытаний, которые загнали бы тебя в железную трубу, где есть только два выхода – вперед или назад. Но может и послать. Человек в ковбойке никогда не пробовал примерить эту мысль к себе, но поговорить с хорошим собеседником на тему о спящих в нас загадках был готов всегда.

А между тем, ему предстояло увериться, что именно в эти дни он делал свой первый шаг в ту среду, которую имел в виду садовод, – в условия, благоприятные для пробуждения какого-то спящего качества. Может быть, он даже чувствовал тугое увеличение проснувшегося ростка, но не отдавал себе в том отчета – еще не осмыслил явления – оно бежало впереди осваивающей мысли. В те самые минуты, когда человек, сидящий на лавке, обдумывал свои дела, спящая почка уже тронулась в рост, и он уже двигался к своей железной трубе, которая в этом городе ждала его, чтобы определить, кто он – ищущий истину отчаянный смельчак или трус, прячущий под себя свои жалкие пожитки. Удивительно, что это была настоящая огромная железная труба и ей, кроме прямого дела по ее специальности, была уготована другая – историческая служба.

Шаги и голоса в аллее заставили человека в ковбойке обернуться. Это была все та же пара синих бегунов – они уже не трусили рысцой, а шли, и это получалось у них значительно быстрее. Поднявшись на бугор, они сели на ту же лавку.

– Вот так, – сказал мужчина, вытирая платком лоб и шею. – Так что ты все увидишь сама. И притом в недалеком и хорошо обозримом будущем.

– Боишься? – вполголоса спросила женщина.

– Трясусь, как балалайка.

– Тебе-то ничего не будет...

– Я полагаю, что твоя эйфория безосновательна, – пригвоздил он ее с неповторимым кряхтением, тоном сноба. – Последнее слово не за тобой, а за их преосвященством. А их преосвященство не любят еретиков, – тут бегун очень весело посмотрел на незнакомца в ковбойке. Тот, дружелюбно улыбнувшись, в третий раз чуть заметно поклонился, и с этого момента бегун стал говорить только для него. – Ты помнишь, каков был Торквемада? – сказал он женщине,

глядя на ее молодого соседа. – Ну, Торквемада, великий испанский инквизитор. А помнишь, чем он отличался? Религиозным энтузиазмом, богословской начитанностью...

– Ну, ты тут на своем коне. Кроме тебя, конечно, никто этого не знает, и никто не читал энциклопедию, – сказала женщина, взглянув на незнакомого соседа.

– Напрасно персифлируешь. Великая мастерица персифляции, – сказал бегун уже прямо мужчине в ковбойке. Тот улыбнулся и развел руками:

– Я не знаю этого слова.

– Лесть, искусно маскирующая насмешку. Насмешку я не замечаю, а лесть принимаю. Торквемаду я упомянул здесь не напрасно. Я имею в виду не того Торквемаду, который устраивал в Испании знаменитые костры инквизиции, а другого – того, которого я здесь учил до войны цитологии, у которого принимал зачет, и который стал теперь первосвященником и приедет, видимо, завтра, в заведение, где я работаю. И будет учинять в нем великий трус. Этот Торквемада, хоть и новичок в своем деле, но, по отзывам знающих людей, стоит того, испанского. Он тоже фанатик и начитан, великий богослов в своем деле, и под его влиянием найдутся кардиналы...

– Видите ли, для справедливости сравнения надо сказать, что Торквемада испанский ничего себе не брал, в отличие от других инквизиторов, и был суровейший аскет, – заметил человек в ковбойке. – Постился он по-настоящему...

– Бедным еретикам от этого не было легче, – сказала женщина.

– Никак не легче, – согласился синий бегун. – У Дарвина есть такое соображение: в Испании несколько столетий каждый человек, способный мыслить, попадал на костер. Отсюда пошел упадок мысли в стране.

Я думаю, что и диктатура Франко появилась не без причинной связи с историческими обстоятельствами. Так что никакой детумесценции нам ждать не приходится.

– Простите...

– Я хочу сказать, страсти будут не затухать, а разгораться. Лев и кроткая лань, которые до этого кое-как терпели друг друга...

– Надеюсь, я беседую со львом? – уважительным тоном спросил незнакомец в ковбойке.

– Вот видите, и вам не чужда персифляция! Нет, нет! Какой же я лев... Вообще, львов я давно не видел... Словом, подготовимся к допросам и пыткам.

– Даже к пыткам?..

– Ну, разумеется, Железной девы там не будет. Но, знаете, мы живем сегодня, по крайней мере, мы, биологи, как собачки у Павлова. Правда, в нашем эксперименте установка несколько отличается. От каждого ученого отходит резиновая трубка, по которой притекают соки, питание. Все трубки сходятся в определенном центре. Некий академик может нажать, скажем, мою трубку, и готово – я захирел и бряк кверху лапками. Конечно, сразу не нажмет. Но уменьшит сечение, это бывает. А еще чаще – ласково к ней прикоснется, нажмет слегка и отпустит. Я тут же закричу: не буду! Каюсь!

Женщина уже дергала бегуна за рукав, уже оба поднялись, чтобы идти, а тот все не мог остановиться:

– Наш Торквемада будет перебирать эти трубки, ласково их касаться, а люди будут трепетать. Чем это не Железная дева?

Тут они раскланялись, пара отошла на несколько шагов, синий бегун еще раз поклонился, и они затрусили по аллее.

Человек в ковбойке некоторое время с растерянной улыбкой смотрел им вслед и даже повторил вполголоса:

– Торквемада...

Потом он взглянул на часы – было чуть больше десяти – и поднялся. Куда пойти? Впереди был целый день. Он медленно побрел по аллее – так, чтобы не догнать синих бегунов, которые

трусили вдаль. «Железная дева», – подумал он, покачивая головой, и представил себе это средневековое орудие пытки, нечто вроде железного – в человеческий рост – футляра для скрипки, усаженного внутри гвоздями. Тут повеяло ветерком и, обогнав его, пронесся длинными скачками еще один бегун – худенький, невысокий, с прижатыми локтями. Он был в нитяном тренировочном костюме, тоже синем, но поблекшем от стирок. На спине темнело пятно пота. Его фигура быстро уменьшалась, и по этому можно было судить о скорости. Слегка сбочив на одну сторону – бывает такая кавалерийская посадка – бегун пересек аллею и рухнул в провал, сбежал по страшной крутизне на самое дно, где взлетал волейбольный мяч, и его фигура замелькала среди сосен, поднимаясь на другой склон, запрыгала ритмично, словно ее дергали на нитке. Человек в ковбойке долго смотрел ему вслед. Он узнал бегуна – когда-то слушал его лекции по генетике в этом самом институте. Это был академик Посошков. Семь лет назад – в первый год войны – он женился на своей молоденькой аспирантке. Ему тогда было шестьдесят лет. В институте ходила легенда: будто в загсе, куда он, принарядившись, привел невесту, регистраторша, подняв на них глаза, прыснула, не удержав смеха. «Разница большая?» – спросил он. «Ага», – ответила та, краснея. «Ну так смотрите», – сказал академик. Он коротко взмахнул руками и прыгнул на ее стол – утвердил свои лакированные туфли точно по обе стороны чернильницы. Выждав паузу, он опять взмахнул руками и, не оборачиваясь, изящно спрыгнул со стола назад, попал точно на то место, где стоял раньше. «Я бы хотел, дорогая, чтобы еще кто-нибудь из приходящих сюда женихов смог проделать эту штуку». Глядя на ритмично прыгающее среди далеких сосен голубое пятнышко, бывший ученик академика чувствовал, что начинает верить в эту легенду. «Сложный человек Светозар Алексеевич», – подумал он, вздыхая и хмурясь. Академик Посошков когда-то в тридцатых годах был одним из известных менделистов, сторонником того учения в биологии, на котором и гитлеровский режим ухитрился построить свои расистские бредни. Конечно, никто не считал академика расистом. Если было бы иначе, ему бы несдобровать. Но все же о нем поговаривали с угрозой те, кто любит нажимать на педали и готов пустить в ход словечко «враг». А куда денешься? Этот менделизм-морганизм (иные добавляли еще к этим словам и «вейсманнизм») содержит ведь тезисы, которые можно использовать. И использовали! Кто же может в двадцатом веке толковать о каком-то наследственном веществе! Чушь какая-то! Все же академик вовремя отрекся от заблуждений и читал студентам свой пересмотренный курс, убедительно ругая монаха Менделя, правда, немного громогласно. Академик Лысенко – вождь мичуринской науки – никак не мог простить ему старые грехи – видно, за то, что Посошков был уж очень матерый менделист. И еще потому, что после своей перестройки и отречений он как-то быстро угас, отошел от боевой науки. Но каяться не забывал. В последний раз на августовской сессии прямо-таки кричал с трибуны. Обещал поддерживать авторитет академика Лысенко, президента агробиологов. Извинился и перед другим корифеем – академиком Рядно. Преподавал он новую – мичуринскую – биологию толково, и из его слушателей вышло много хороших ребят, убежденных противников всякой схоластики. Видимо, отрекся по-настоящему. Но отрекся ли в самой глубине души? Хотелось бы верить ему. Впрочем, сообщали, что вслед за отречением он разогнал половину обеих кафедр генетики, почти всю проблемную лабораторию. Вот и посмотрим, дорогой Учитель, как ты их разогнал...

Так думал, глядя вслед неутомимому старику, человек в ковбойке. А далекое голубое пятнышко все прыгало между соснами, поднимаясь выше и выше. Бывший ученик академика не знал еще, сколько драм и живых страстей бегут на этих тонких ногах...

«Небось, и он считает, что я Торквемада», – не очень весело подумал человек в ковбойке. – А может быть, он как раз и родил это хорошенькое сравнение. Тем более надо к нему зайти, поведать учителя. Да кроме того, он еще и проректор. Через час он наверняка будет уже дома».

Он не спеша зашагал по аллее, свернул к розовевшему вдали институтскому корпусу. «По отзываю знающих людей, – вдруг вспомнил он слова синего бегуна, беседовавшего с ним, – нажмет и отпустит! – вспомнил и тряхнул головой в сторону и вниз, и даже оскалился от стыда. – Значит, заметили во мне эту ласковость инквизитора! В чем же она выражается? Откуда взялась?»

Он шел и не замечал никого – ни тех, кого обгонял, ни тех, кто настигал его, несясь спортивной рысью. Он уже шагал по асфальту, в полосе усиленного движения. Мимо него пролетали на невиданных самодельных роликах лыжники с палками, тренирующиеся и летом, катились навстречу коляски с младенцами. Два человека узнали его и поклонились, но он не заметил их.

– Федор Иванович! Федя Дежкин! – позвал кто-то над самым его ухом, и он очнулся. Мягкий лысоватый блондин из рыжих – бывают такие прозрачные гребешки – шел рядом, плечо к плечу, с ним и приветливо улыбался, разведя руки, словно для объятий. «Вот у кого ласковость!» – подумал Федор Иванович, узнав в соседе полковника госбезопасности Свешникова. Забытая привычка сама растянула худые щеки Федора Ивановича, и был момент, когда оба собеседника стали вдруг похожими друг на друга.

– А-а! Михаил Порфирьевич! Сколько лет, сколько зим! Небось, уже генерал?

– Не-ет, все еще полковник. Это ваш брат – сегодня окончил вуз, а завтра, смотришь, уже кандидат, уже ревизует своих профессоров. Я слышал, вы приехали вейсманистов-морганистов шерстить?

– Начальство поручило...

– Ну как, бытие все еще не определяет сознания? Вы по-прежнему настаиваете?

– Уже не настаиваю, Михаил Порфирьевич. Стал старше, умнее. Но вам могу признаться: да, думаю я по-прежнему так, как думал. А вы по-прежнему меня не понимаете.

– До сих пор! Отрицаете значение бытия!

– Простите. Я отлично сознаю, что являюсь результатом множества предшествующих процессов. Если бы не было моего бытия, не было бы и моего сознания. Но я против плоского заучивания классических формул. Против механических представлений. Результат воздействия бытия на меня будет зависеть и от моей личности. Меня нельзя сбрасывать со счета, я не молекула воды. Можно ли яснее сказать? Я настаиваю вот на чем: на воздействие бытия яотреагирую самым неожиданным для многих образом.

– Посмотреть бы!

– А что – мы ведь еще поживем. Еще увидимся. Согласитесь, что августовская сессия академии была классическим фактором общественного бытия. Так вот: один академик на ней признал свои ошибки и полностью покался. Пал на колени перед нашим законодателем. Другой морганист, доктор наук, каялся с оговорками. А некий профессор на весь зал закричал: «Обскуранты!» – и был выведен на улицу. Видите, они не по-вашему, а всяк по-своему проявили свою суть в равных условиях.

– Но бытие может устроить вам серьезный экзамен.

– Михаил Порфирьевич, бытие своей манерой ставит нам такие пестрые и сложные задачи предполагает разные реакции. Оно само утверждает, что все мы – разные. На его экзамен яотреагирую самым неожиданным образом. Так, что само бытие удивится.

– Вы только этого с другими не развивайте. Со мной можно. А с другими не стоит.

– Не могу. Развиваю с каждым, кто любит поговорить.

– Ваш опыт должен бы вас научить...

– А что? Вы имеете в виду дядика Борика? Что-нибудь натворил?

– Нет, Борис Николаевич, слава богу, в порядке, он даже стал кандидатом наук. Но ведь это не чья-нибудь, а ваша неосторожность навлекла на него неприятности. И в судьбе его

остался, так сказать, шрам... Так что хоть с этой стороны сделайте выводы. Вы где остановились – в квартире для приезжающих?

– Да, – несколько растерянно, механически ответил Федор Иванович.

– Давайте не избегайте меня. Надо нам как-нибудь, как семь лет назад, обстоятельно поговорить. О свободе воли, о добре и зле... Я уже соскучился по нашим беседам.

– Да, конечно... Понимаю...

Они простились, как и раньше прощались, чувствуя непонятное замешательство, и полковник в штатском костюме табачного цвета пошел вперед ускоренной, озабоченной походкой. Складки на спине задвигались крест-накрест, заюлил узенький зад – самое узкое место в фигуре полковника. И, как восемь лет назад, голова Свешникова опять показалась настороженному Федору Ивановичу кастрюлей с двумя оттопыренными врозь и вверх ручками.

А с дядиком Бориком вот что получилось. Еще до войны, когда Федор Иванович учился здесь, у него завелся друг – этот самый Борис Николаевич Порай, преподаватель с факультета механизации. У Федора Ивановича всю жизнь были друзья на десять-пятнадцать лет старше его. И всю жизнь Федор Иванович любил философские беседы. Получилось так, что студент заразил преподавателя этой самой мыслью о великой самостоятельности нашего сознания, о сложной, не прямой подвластности нашей личности формирующим воздействиям со стороны бытия. Дядик Борик с улыбкой стал звать Федю не иначе, как Учителем, устроил среди преподавателей дискуссию. И вдруг его пригласили в так называемый шестьдесят второй дом и оставили там. Студент Дежкин немедленно отнес в этот дом свое заявление, разъясняя всю суть дела и справедливо беря ответственность на себя. Он искал следователя, а попал к какому-то начальнику – к полковнику Свешникову. Заявление приняли, со студентом побеседовали и отпустили. И с тех пор полковник стал здороваться с ним на улице, норовил упрочить знакомство. Дядик Борик все-таки посидел у них месяца три.

Но откуда этот Михаил Порфирьевич, пусть он даже полковник госбезопасности, откуда он узнал о том, что кандидат наук Дежкин приехал «шерстить вейсманистов-морганистов»? Ведь всего лишь четыре дня назад Федор Иванович сам еще не знал, для чего его вызывает академик Рядно! Кто принес сюда известие? Все те же «знающие люди»?

Четыре дня назад утром он пил свой холостяцкий чай в своей холостяцкой московской комнате, полутемной от близости другого дома, когда сосед по многокомнатной коммунальной квартире позвал его к телефону.

– Сынок? – это был хриплый носовой тенор Кассиана Дамиановича Рядно. За этот голос один недруг академика, тоже академик, сказал о нем: «хрипун, удушенник, фагот». И это был действительно тот носоглоточный деревянный голос, который бывает слышен иногда в симфоническом оркестре.

– Сынок? – спросил академик. – Ты что делаешь? Чаек пьешь? Значится, так: допивай спокойно чаек – и ко мне. Не торопись, я там буду через час. Давай пей чаек...

Кассиан Дамианович появился в приемной точно через час. Снял белый пыльник и, не глядя, ткнул куда-то в сторону от себя – его сейчас же приняла секретарша и унесла вешать в шкаф. Высокий, очень худой академик, колеблясь всем крепким телом, как лось, прошел к себе в кабинет и по пути сделал Федору Ивановичу властным пальцем знак – иди за мной.

Весь кабинет был увешан и уставлен выращенными академиком чудесами. В углах стояли снопы озимой пшеницы, которую народный академик, как его называли газеты, переделал в яровую, и яровой, получившей свойства озимой. В дальнем углу скромно топорщился снопик с огромными колосьями ветвистой пшеницы, на которую возлагал особые надежды Трофим Денисович Лысенко и которая, как известно, не удалась. С этой пшеницей работал и академик Рядно, и тоже безуспешно. На стенах кабинета висели отформованные из папье-маше и раскрашенные желтые помидоры – копии полученных на одном кусте с красными путем прививки. Висели большие фотографии в рамках: знаменитый кавказский граб, на котором

вырос лесной орех – лещина, и сосна из Прибалтики, породившая ветку ели. На специальной полочке, в центре стены, лежали крупные розовые клубни картофеля – знаменитый «Майский цветок», сверххранний и морозостойкий сорт, полученный ученым путем прививок и воспитания в сложных погодных условиях.

Федор Иванович оглядел все фотографии и отвел глаза. С некоторого времени им овладели сомнения. Насчет граба, породившего лещину, он твердо знал, что никакого порождения тут нет, что это простая прививка, шалость лесника. Он все не отваживался поговорить об этом с академиком. Но «Майский цветок» всегда прогонял его сомнения. Это был настоящий новый сорт, чудо селекции.

Академик не спеша причесал прямые серые волосы, начесал их вперед. Потом наложил на лоб ладонь с растопыренными пальцами. Быстро и резко повернув ладонь на невидимой оси, Кассиан Дамианович отнял руку – там теперь красовалась челка, которая приняла форму завихряющейся туманности. Об этой челке недруг-академик давным-давно, лет тридцать назад, тоже сказал свое слово: эта туманность предвещает рождение сверхновой звезды. И не ошибся.

Академик Рядно, крикнув, уселся за свой стол. Тут же секретарша внесла стакан горячего чаю в подстаканнике. Академик бросил в стакан большую таблетку, молча долго мешал ложечкой. Потом отхлебнул, пробуя свое лекарство и стуча при этом золотыми мостами. Как будто конь шевелил во рту стальной мундштук.

– Хочешь прокатиться? – спросил он вдруг, отставляя стакан. – Давай, сынок, собирайся. Правда, ты недавно был в командировке, но ничего. Время горячее, нам надо ездить. А потом будем отдыхать. – Тут он отхлебнул чаю, постучал зубами и отставил стакан. – Время очень горячее. Поедешь, сам увидишь. Да и видел уже. Происходит борьба идей. Идеалисты, мракобесы идут в наступление. Там, куда ты поедешь, а ты поедешь в город, где учился, – там, сынок, давно сложилось целое кубло вейсманистов-морганистов. После сессии, которая больно трахнула по их теориям и по ним самим, они заняли оборону. Но они знают, сволочи, куда направить удар. Они замахнулись на завтрашний день науки – на нашу смену, на молодые умы. Отравляют...

Наступило молчание. У академика были крупные, вылезавшие вперед желтоватые зубы, и он время от времени натягивал на них непослушную верхнюю губу. Он недовольно смотрел в окно – прищурясь, глядел в глаза врагу.

– Там есть профессор – ух, Федя, старая, битая крыса. А второй – академик. Твой учитель, между прочим. Он, конечно, клялся, плакал на сессии... Кричал... Ему теперь ничего не остается, кроме мертвой обороны. Как и тому, профессору. Только первый сам лезет, ты только подставь, он сам сядет на вилы. А академик – тот сложнее. В драку не лезет. Лекции перестроил, читает нашу науку. Пусть читает. А что он думает – сегодня мы можем пока оставить его мысли в покое. Пока. Пусть себе думает. Может, если еще одного воспитает мне такого, как ты, может, и простим. Ради этих двух я тебя не послал бы. У меня, сынок, есть сведения, что там действует подпольное кубло. Молодежь – студенты, аспиранты... А возглавляет их – есть там такой Троллейбус. Дошло до меня. Запомни – Троллейбус. Это не фамилия, а просто студенты прозвали. Фамилия выскочила из головы. Ну, да ты узнаешь. Их компанию ты вряд ли сумеешь накрыть... А вот Троллейбуса – этого мне поймай. Интересно, что это за фрухт. Посмотреть бы. Он, конечно, тоже надел маску. Говорят, прививки делает – по нашей дороге вроде пошел. Как его разоблачить – ты там на месте подумай. До бесед с ним не очень снисходи. Знаешь, как Одиссей... Уши воском залепи и действуй.

Тут академик, ласково сощутив глаза, весь подался к Федору Ивановичу:

– Что с тобой сынок? Твой вид мне не нравится. Совсем не похож на Гектора, которого Андромаха снаряжает в бой. Не приболел? Или, может, выпил вчера? Бывает же и такое... А?

Федор Иванович, действительно, был бледен и вял, и настроение у него было такое, что хоть бросайся в ноги к шефу с покаянием: иссяк родник веры! Вчера почти до полуночи он, может быть, в пятый или шестой уже раз читал книжку Добржанского «Основы наследственности», которую прятал на дне своего чемодана. Странно – знаком с книжкой лет семь, но почему-то лишь вчера простые рассуждения, которые академик Рядно так весело высмеивал, – эти простые рассуждения вдруг испугали Федора Ивановича, и он, вытирая вспотевший лоб, впервые сказал себе: это все надо проверить.

– Так что? Едем или не едем? – спросил академик. – Я могу послать и Саула. Уже чуть было не послал. Он в двух городах уже побывал, рвется в третий, ему драку только подавай. И личные интересы у него там есть. Амурные. Я просто подумал: сынок пусть поедет. Тут такой случай, что тонкость нужна. Интеллигентность. Пусть, думаю, посмотрит, поглядит, где молоко науки сосал. Где двойки хватал.

Услышав имя Саула Брузжака, Федор Иванович тут же решил все:

– Поеду, Кассиан Дамианович. Погляжу, где двойки хватал.

И академик Рядно, еще раз посмотрев на него, протянул ему журнал:

– Возьми вот в дорогу, посмотри. Там есть две статьи – Ходеряхина и Краснова. Это наши ребята. Они тебя ждут. Познакомишься. У них есть бесспорные достижения. Только помни – там встретишь и тонких казуистов. Умеют приспособить эксперимент к целям метафизики. Помнишь, что у Киплинга говорит закон джунглей? Сначала ударь, потом подавай голос.

Он умолк и стал смотреть с лаской на Федора Ивановича. Потом достал из кармана большой клетчатый платок – собрался протереть лежавшие на столе очки. Протянул руку к очкам, но в этот момент из платка просыпалась на стол земля. Академик развеселился:

– Хух-х! От черт! Это ж я так и не вытряхнул платок! Понимаешь, вчера на лекции достаю платок и оттуда вот так – земля! Это я по делянкам лазил и вот – набрался... Любит старика земля, а? Так и лезет везде.

Растроганно качал головой, смахивая землю на пол. Потом положил палец на край стола.

– С тобой поедет Вася Цвях. Ты знаешь, он мужик боевой, выдержанный, член партии. Ты помоги ему написать доклад. А он тебе поможет. Давай, сынок, собирай чемодан.

К сожалению, академик так и не вспомнил фамилию того, кто возглавляет подпольное «кубло». «Ладно, – подумал Федор Иванович. – От меня не скроется этот Троллейбус».

И отправился в путь. И перед ним полетела весть, пущенная «знающими людьми»:

– Едет Торквемада. Начитанный, цепкий, ласковый Торквемада.

Погуляв по парку, побывав внизу около реки и обойдя все переулки между трехэтажными институтскими зданиями и службами, Федор Иванович взглянул на часы и отправился на ту улицу, что ограничивала опытные поля института. Громадное хозяйство было обнесено провололочной сеткой на столбах, и против этой ограды, среди высоких сосен, стояли, прячась друг от друга, одинаковые кирпичные домики с мансардами. Здесь жили профессора и преподаватели. Он сразу нашел дом академика Посошкова, открыл калитку и, пройдя между кустами роз, позвонил у дубовой двери. Открыла молодая, довольно рослая, почти белая блондинка, с двумя толстыми короткими косами, которые упруго торчали врозь, и с глазами, как бы испачканными черной ваксой. У нее были очень нежные голые руки с цыпками на локтях. «Она», – подумал Федор Иванович. Его провели в большую комнату, увешанную картинами. На видном месте висел портрет молодой работницы в красной косынке на фоне кирпичных заводских зданий и красных знамен. Федор Иванович сразу узнал работу Петрова-Водкина. Под портретом на низком столике лежало несколько книг, и среди них вызывающе красовалось крамольное сочинение: Т. Морган, «Структурные основы наследственности» с синим библиотечным штампом наискось: «Не выдавать». Застыв, Федор Иванович невольно расширил глаза. Тут же спохватившись, он отвернулся и встретил внимательный взгляд блондинки, которая сразу опустила густо осмоленные ресницы.

Раздались четкие, быстрые удары бегущих ног по скрипучим ступеням. В этой комнате, оказывается, была лестница, ведущая на мансарду. Вздрагивая прижатými локтями, вниз бежал академик Посошков – все в том же выцветшем тренировочном костюме.

– Да? – сказал он, не узнавая гостя. И тут же просиял: – Эге, кто к нам приехал! Кто к нам приехал! Федя Дежкин! Кандидат наук Федор Иванович Дежкин! Здравствуй, дружок... – Он мягко посмотрел на жену, и она вышла. – Садись, Феденька. Можешь не рассказывать, все знаю. Приехал немножко потрясти вейсманистов-морганистов. Правильно. Наконец-то Кассиан Дамианович взялся и за нас... У нас тут говорят, что ты у него правая рука. Ему бы еще и левую такую...

«Тогда бы вейсманисты-морганисты запищали», – хотел с обидой закончить его мысль Федор Иванович. Но ничего не сказал, только, чуть покраснев, уставился на академика. Тот не уступил – закинувшись в кресле назад, стал как-то сверху рассматривать своего бывшего ученика черными, как маслины, мягко горящими глазами. У него было очень худое, с зеленоватыми ямами на щеках, почти коричневое лицо и коротко подстриженные серые усы.

– Время, Феденька, время, – сказал он. – Все-таки семь лет. За семь лет, говорят, все вещества в организме проходят обмен. Замещаются...

– Количественно. – возразил Федор Иванович. – Но не качественно.

Академик, видно, принял эти слова за намек на его вейсманистско-морганистское прошлое – дескать, горбатого могила исправит. Шире раскрыл готовые к драке глаза.

– Если вы действительно считали меня когда-то добрым человеком, если не ошибались, – Федор Иванович сказал это со страстью, – то таким я и уйду в могилу. Человека нельзя сделать ни плохим, ни хорошим.

– А как же исправляют...

– Светозар Алексеевич, не исправляют, а обуздывают. Усмиряют. Для кого существует аппарат насилия? Для тех, кого нельзя исправить.

– Да... – академик вскочил с кресла и быстро прошелся по комнате. Еще раз посмотрел на Федора Ивановича: – Узнаю тебя, Федя. Это ты.

Вошла женщина. Они встретились глазами – академик и она, и Светозар Алексеевич, встав, склонив седины, сделал приглашающее движение:

– Чудеса! Самовар уже вскипел. Давай к столу.

Поднимаясь, Федор Иванович нечаянно взглянул на столик с книгами. «Т. Морган» уже был прикрыт мичуринским журналом «Агробιология», где академик Рядно был одним из самых главных сотрудников.

Открывая стеклянную дверь, академик обнял Федора Ивановича.

– В бога еще не уверовал?

– В бога нет. Но кое-что открыл. Для себя. Ключ вроде как открыл. Чтоб руководить своими поступками и разбираться в поступках других.

– Ого!.. Очень интересно, – Светозар Алексеевич взглянул на него сбоку. – Давай-ка садись, бери пример с Андрюши Посошкова.

За белым квадратным столом, красиво и по правилам накрытым для четырех человек, уже сидел белоголовый мальчик в холщовом матросском костюмчике и водил ложечкой в тарелке с оранжевой смесью: там был крошен хлеб и залит жидким яйцом. Увидев гостя, мальчик встал и поздоровался, прямо взглянув ему в глаза.

– Вот видишь, здесь севрюга, – сказал академик, когда все сели. – Ты давай, давай, для тебя поставлено. Вот здесь – холодная телятина, прекрасно зажарена. Заметь – желе. Из нее натекло. А моя материя, – тут он снял тарелку с поставленной около него стеклянной банки, там был творог. – Моя материя вступила в стадию решающей борьбы за сохранение своего уровня организации...

– Но вы же молодой! Вы же тянете на сорок пять лет!

– Тяну? Может быть, может быть... В школе мне объяснили закон сохранения энергии. И я всю жизнь старался эту энергию экономно расходовать...

«Не из соображений ли экономии ты уклонился от борьбы?» – подумал Федор Иванович.

– А как же ваши кроссы? – спросил он.

– Экономия – это уход от ненужных, бессмысленных драк, – сказал академик, как бы прочитав мысль гостя. – А кроссы – это борьба с энтропией. Лень, сон, покой – все это способствует энтропии, распаду, нашему переходу в пыль. Чтобы противостоять, приходится расходовать энергию! Так оно и получается – между двумя огнями. С одной стороны, экономия, с другой – расход. Ты давай, обязательно вместе с куском захватывай побольше желе. Вот этот кусочек возьми – прекрасная вещь! – вдруг сказал он и горящими глазами проследил, чтобы был взят этот кусочек и чтобы на него был положен дрожащий ломтик желе. – Ну, как?

– М-м-м! – благодарно промычал Федор Иванович с набитым ртом.

– А мне уже нельзя... Бери еще кусок. Бери, бери, – сказал академик, кладя себе творог. – Да ты, видимо, прав, – он прямо и с вопросом взглянул в глаза. – Доброго человека не заставишь быть плохим.

– Страх наказания и нравственное чувство – разные вещи, – сказал Федор Иванович, разрезая телятину и совсем не замечая, с каким особенным вниманием вдруг стал его слушать академик. – Страх – это область физиологии. А трусость – область нравственности...

На это академик вопросительно промычал сквозь творог. И еще выразительнее посмотрел.

– Трусость – это не просто страх. Это страх, удерживающий от благородного, доброго поступка. Трусость отличается от страха. Мотоциклист не боится разбиться насмерть. Носится как угорелый. А на собрании проголосовать, как требует совесть, – рука не подымается. Труслив. Хороший человек преодолевает в себе чувство страха, физиологию. Но если угроза очень страшная, такое может быть... Хороший человек, и тот может дрогнуть. Это уже будет не трусость, а катастрофа. Но это не изменит его нравственное лицо. Человек останется тем, кем он был до своей гибели. И будет искать искупления... Я, конечно, имею в виду сверхугрозу, превосходящую наши силы.

– Я не согласна с вами, – сказала вдруг блондинка. – Все равно это будет трусость. И никакого оправдания...

– Не согласны? – спокойно сказал Федор Иванович, задумчиво взглянув на нее. – А если у вас кто-нибудь отберет вашего ребенка...

– Верно, верно, Федя! Молодец! – с необъяснимой энергией одобрил его академик, которого эти вещи сильно занимали. Он не почувствовал, что свою адвокатскую тираду Федор Иванович произнес специально для него и для его жены. Сам же «адвокат» смотрел на дело иначе. Он не простил бы себе такой катастрофы.

– Серьезные вещи говоришь, Федя, – сказал Светозар Алексеевич. – Я думаю так: у человека, задумавшего кончить жизнь самоубийством, должен исчезнуть физиологический, как ты говоришь, страх. И трусость, подчиняющая его всякой палке, всякому кнуту. Но нравственное чувство будет продолжать повелевать. Он получает свободу от всего, кроме своей совести. И будет стремиться искупить вину. Меня, Федя, часто заставляет задуматься фигура Гамлета. Когда он узнал, что ранен отравленной шпагой, с него как бы свалились все оковы, связывающие доброго человека на этой земле. Он перестал быть подданным короля, стал гражданином Вселенной. Из него мгновенно испарилось все, что зависит от внешнего бытия...

Тут пришла очередь Федора Ивановича прислушаться. Для него это был новый аргумент, и он всей душой потянулся к интересной беседе. Но блондинка со звоном бросила нож на тарелку.

– Перестань! Даже страшно становится, когда он о Гамлете своем начинает. Как будто с жизнью прощается. Неужели нельзя о чем-нибудь еще!

– Да-а... – Светозар Алексеевич затуманился и притих. – У... у такого человека очень интересное правовое положение.

– Разрешите вам налить чаю, – сердито сказала блондинка Федору Ивановичу.

– Простите меня, пожалуйста, как вас зовут?

– Ольга Сергеевна.

Волосы у нее были прямые и белые, как строганая сосновая доска, и две ее толстые короткие косы по-прежнему пружинисто торчали врозь, как две плетеных булки. Она подала Федору Ивановичу чашку белой рукой с большим фиолетовым камнем на пальце. Принимая от нее чай, Федор Иванович почувствовал странную тишину в комнате и взглянул на академика. Светозар Алексеевич спал, уронив усталую голову. Слюна стеклянкой струйкой скатилась на грудь, скользнула по выцветшему трико. Ольга Сергеевна поднесла палец к губам.

Через полминуты старик открыл глаза и некоторое время сидел так, приходя в себя. Вдруг совсем очнулся и пристально посмотрел на Федора Ивановича, на жену – заметили ли. Нет, никто не заметил. Гость положил себе еще кусок телятины. Ольга Сергеевна заглядывала в маленький электрический самовар. Мальчик пил свой чай, опустив глаза.

Успокоившись, старик положил за худую щеку ложку творогу.

– Ключ! – сказал он, шевеля усами, и задумчиво вытаращился на ложку. – Интересные вещи, Федя, говоришь. Ты что, уже проверил действие?

– Нет еще. Но в руке, похоже, держу.

– Да-а... Ты у нас сможешь его проверить. – Во взгляде академика опять появилась изучающая, пристальность. Он немного боялся Федора Ивановича, и его клонило все к тому же – к цели приезда его ученика. И Ольга Сергеевна поглядывала на гостя с заметной тревогой. – Тебе, Федя, в твоём нынешнем положении этот ключ будет просто необходим, я так думаю, – сказал академик, помолчав. – Только не появится у тебя излишняя уверенность в правоте? Ключ ведь можно применять и при неправильной основе. В основе ты уверен?

– Мы с вами, Светозар Алексеевич, что вы, что я, одинаково в ней, в нашей научной основе, уверены, – краснея, сказал Федор Иванович. – Уж если учитель так уверен, куда деваться его прилежному воспитаннику...

Академик закинулся на стуле, как он уже делал один раз, посмотрел на гостя как бы сверху.

– Ты, Федя, твердой рукой подвел меня к вопросу, на который надо отвечать стоя. Тем более, что вы – член комиссии. – Он не заметил, как перешел с гостем на «вы». – Вот, слушайте: я полностью осознал вред, который могут причинить науке мои...

«Заблуждения или трусливые колебания?» – Федор Иванович ясно прочитал этот вопрос в быстром и вызывающем взгляде Ольги Сергеевны, брошенном на мужа.

– ...Заблуждения – твердо отчеканил Светозар Алексеевич. – И я честно, не раз заявлял об этом с трибуны.

Попробуй, поговори с чутким человеком. Никто не смог бы осторожнее коснуться большого места в душе академика, чем это было сделано. Притом сам ведь полез вперед со своей болячкой. Но, оказывается, и так касаться нельзя. Тем более, при даме. Федор Иванович побагровел.

– А что я говорил! – мягко сказал он. – Я же говорил! Хорошего человека... Даже в экстремальных условиях... Сделать плохим нельзя. Нельзя!

Они, конечно, тут же и помирились, и оба, затуманившись, обсудили феноменальную способность человека объясняться с себе подобными на тончайшем уровне.

– Конечно, другого такого ювелира, как я или как ты, не было и не будет. Ни во времени, ни в пространстве, – сказал Светозар Алексеевич. – Чудеса!

Спросить академика о Троллейбусе Федор Иванович остерегся. Тихий голос шепнул ему издали: помолчи об этом.

Часа через два Федор Иванович быстро шел по одной из аллей парка, направляясь домой, то есть к одному из розовых зданий института, где ждала его комната в квартире для приезжих. Вдруг его внимание остановила редкостная фигура – осанистый и вельможный бородач, стоявший на перекрестке аллей. Чесучовые серебристо-желтые брюки, чесучовый балахончик с рукавами до локтей, алюминиевые туфли на женских каблуках, кремовая фуражечка с капитанской кокардой. Фигура у него была довольно статная, но с чрезмерным прогибом в талии – прогиб этот повторял линию тяжелого отвислого живота. Бородач за чем-то с интересом следил.

– Иннокентий! – крикнул Федор Иванович. Он узнал местного поэта Кондакова.

Поэт показал счастливую, похожую на подсолнух рожу.

– Ты? Какими судьбами к нам?

И они пошли вместе по аллее, оживленно и громко беседуя. Федор Иванович вскоре заметил, что громкая речь поэта – притворство, что их разговор совсем Кондакова не интересует, что он взволнован чем-то. Потом поэт сделал рукой знак: «Минуточку!» – и, заработав локтями, виляя, ускорил шаг. Вот, в чем дело – впереди шла молодая женщина. Поэт что-то негромко сказал ей. Она не ответила. Он ускорил шаг и еще что-то сказал. Она ответила с небрежным полуповоротом головы. Поэт догнал ее и забежал с одной стороны и с другой. Бедняжка споткнулась, он тут же поддержал ее под локоток. Быстро переменил шаг и засеменял с нею в ногу, отставив зад. В конце аллеи женщина остановилась и долго говорила ему что-то педагогическое. Потом пошла дальше, а он остался стоять, поникший, – правда, ненадолго. Ликующий подсолнух его физиономии опять развернулся навстречу Федору Ивановичу.

– На охоту вышел? – спросил тот.

– Как ты догадался? – поэт показал все свои кукурузные зубы.

– Так у тебя же, наверно, есть...

– Про запас. Природа не терпит остановок. Послушай, как тебе понравится это, – он замычал, вспоминая какие-то строки, и, загоревшись, стал декламировать, успевая поглядывать и по сторонам:

Вот какой я – патлатый,
Синь в глазах да вода,
На рубахе заплаты,
Но зато – борода!

Пусть не вышел в герои
В малом деле своем, —
Душу тонко настрою,
Как радист на прием.

И ворвется в сознание,
И навек покорит
Шум и звон созиданья,
Обновления ритм.

Басом тянут заводы
Новый утренний гимн,
Великаны выходят
Из рабочих глубин.

Все серьезны и строги
И известно про них,
Что в фундамент эпохи
Ими вложен гранит.

А в полях, где сторицей
Возвращается вклад,
Где ветвистой пшеницы
Наливается злак,

Та же слышится поступь,
Тот же шаг узнаю,
И огнем беспокойство
Входит в душу мою:

Где же мой чудо-молот?
Где алмазный мой плуг,
Чтобы слава, как сполох,
Разлетелась вокруг?

И, задумавшись остро,
Думой лоб бороздя,
Выплываю на остров,
Слышу голос вождя.

Он спокоен и властен,
Он – мечта и расчет,
Ненашедшему счастья
Озаренье несет:

Нет, не только гигантам
Класть основу для стен!
Нет людей без талантов,
И понять надо всем,

Что и винтик безвестный
В нужном деле велик,
Что и тихая песня
Глубь сердец шевелит.

- Ну, и как? – поэт взял Федора Ивановича под руку.
Тот знал, что надо говорить поэтам об их стихах.
– Здорово, Кеша. Особенно это: «На рубаше заплаты, но зато – борода». Твой портрет!
– Ты что, остришь?
– Да нет, ничего ты не понял. Ведь ты же не одежду описываешь, а характер, характер!
– Ну ладно, с этой поправкой принимаю. Еще что-нибудь скажи.
– Ты имеешь в виду речь Сталина, где он про маленьких людей? Очень здорово. Очень хорошо: «великаны выходят из рабочих глубин».

– Молодец. Еще скажи. Хорошо критикуешь.

– «Алмазный плуг» – ты это, по-моему, у Ключева стибрил. У него есть такое: «плуг алмазный стерегут»...

– Еще что? – Кондаков отпустил локоть Федора Ивановича.

– Еще про ветвистую пшеницу. Пишешь, о чем не знаешь. Про нее рано ты сказал. Злак еще не наливается. Она ведь не пошла у нашего академика. Могут тебе на это указать...

– Самый худший порок в человеке – зависть, – сказал Кондаков.

– При чем же здесь...

– Федя, не надо. Не надо завидовать. Стихи уже посланы в набор.

Поэт, не прощаясь, резко повернулся и зашагал по аллее, и вид его говорил, что оскорбление может быть смыто только кровью.

Кондаков умел оставлять в собеседнике неопределенный тоскливый балласт. Все еще чувствуя в душе эту тоску, Федор Иванович вошел в комнату, которая в этом городе была отведена под жилье для приезжей комиссии.

II

На следующий день, в понедельник утром, в уставленном высоченными тяжелыми шкафами кабинете кафедры генетики и селекции сидели, раскинувшись в креслах и на стульях, завкафедрой профессор Хейфец – с белым измятым лицом и жгучими восточными глазами, проректор академик Посошков, заведующий проблемной лабораторией доцент Стригалева и два цитолога – супруги Вонлярлярские. В самом темном месте кабинета все время бежало вверх фиолетово-голубое пламя спиртовки – хорошенькая девушка в очках, научный сотрудник Лена Блажко, варила в большой колбе кофе, разливала по пробиркам, похожим на вытянутые вверх стаканчики, и с изящными полупоклонами, как гейша, подавала собеседникам. Над столом профессора висел большой портрет Менделя. Монах в черной сутане с узким белым воротничком спокойно смотрел сквозь очки, скрестив руки на груди, держал какую-то книжку, заложив в нее палец. Рядом висел в такой же – дубовой – раме портрет Моргана. Старик с бородкой выглядывал из-за биноклярного микроскопа, сдвинув очки на кончик носа, скептически смотрел на кого-то. На кого? На яркий цветной портрет Трофима Денисовича Лысенко, который разместился в большой раме напротив. Академик рассматривал в лупу колос ветвистой пшеницы «Тритикум тургидум». По слухам, он ходил с этой пшеницей к самому Сталину. Он будто бы обещал приспособить ее для наших полей, и это должно было дать пятикратное увеличение урожая. Пшеничка-то не пошла, а менделисты-морганисты не пропустили случая, высказались: мол, это дали о себе знать законы генетики, против которых боролся Лысенко, не очень удачно присоединив к своему знамени и имя Мичурина. Эта-то пшеница, похоже, и заставила ученого американца выглянуть из-за микроскопа, собрать на лбу несколько морщин.

В кабинете были уже сказаны первые слова о начавшейся на факультете ревизии, теперь наступила пауза, все задумались, прихлебывали кофе.

– У вас все в порядке – в ваших записях? – спросил профессор Хейфец, ложась локтями на свой широченный стол, разворачиваясь всем корпусом к Стригалева. – Имейте в виду, вы сильно под боем.

– Я все проверил еще раз, – сказал Стригалева – обугленный худощавый брюнет с длинными нитями седины в непричесанных лохмах. Он был по-летнему в белой рубашке с засученными рукавами. – Дайте мне, Леночка, кофейку, – он протянул к Лене плоскую, длинную, волосатую руку.

И Лена, не взглянув, ответила красивым тонким жестом: сейчас, сию минуту вы получите свой отменный, прекрасный кофе. И уже подавала с наклоном головы полную пробирку.

– Я боялся, что пришлют этого... карликового самца, – проговорил с улыбкой академик.

Карликовым самцом здесь называли часто приезжавшего в институт Саула Брузжака, «левую руку» академика Рядно, за его маленький рост и всем известную скандальную связь со студенткой – рослой, тяжелого сложения девицей.

– Эта Шамкова, она, по-моему, уже аспирант. Саул ее двигает, – сообщила Вонлярлярская.

– Она у меня, – пробормотал, хмурясь, Стригалева. – Не знаю, что из нее получится.

– Дивны божии дела! – проговорил профессор. – Известно, что у некоторых пауков, где замечена карликовость самцов, самки пожирают своих супругов... По миновании надобности...

– Ну, Саула не очень-то сожрешь, – заметил академик.

– То, что Рядно прислал этого Дежкина, надо еще осмыслить, – проговорил профессор.

– Он был у меня вчера, – сказал Светозар Алексеевич. – Он далеко не дурачок. Довольно тонок и правильно реагирует... Очень хорошо улыбается. Говорит, открыл ключ к пониманию добра и зла. Правда, развивать не стал...

- Эритис сикут дии, сциентес бонум эт малюм, – сказал, кряхтя, Вонлярлярский.
- Переведите, пожалуйста, – попросила Лена.
- Станете яко боги – будете ведать добро и зло.
- Это змий сказал, надо не забывать, если даже говоришь о человеке, который открыл ключ к пониманию добра и зла, – слабо улыбнулся Стригалева, показав стальные зубы. – А вы-то, Стефан Игнатьевич, что это вы парадную форму надели? Новый костюм, бантик...
- Оделся в чистое, – сказал Вонлярлярский. – По морскому правилу.
- Чтоб идти ко дну? – спросил профессор Хейфец, и все жиденько засмеялись.
- Паникеры, – баском сказала Вонлярлярская.
- Я не закончил, – проговорил академик Посошков. – Он не дурачок, но в правоте уверен железно.
- Если не дурак – значит, у него есть какая-то сложная собственная концепция лысенковской галиматии, – профессор покачал головой. – Значит, он раб этой доктрины. Приехал к нам помочь... Излечить от заблуждения, вернуть в лоно...
- С христианской любовью, без кровопролития, спасительным, все исцеляющим огнем, – сказал Вонлярлярский.
- Каяться не буду, – тихо проревел профессор. – Санбенито не надену.
- И зря, – заметил академик, мягко сверкнув глазами. – Сейчас не пятнадцатый век.
- Как понять? – профессор обернулся к нему. И тут все затихли. В дверь негромко стучали. Раздались четыре мерных удара. Лена взглянула на профессора, тот кивнул, и она повернула в массивной двери тяжелый старинный ключ. Вошел Федор Иванович Дежкин – явно с каким-то важным делом.
- Легок на помине, – сказал он, оглядывая всех. – Поклон уважаемой конференции. Простите, я должен сделать заявление. Можно? Вы не приглашали на это заседание ни меня, ни моего старшего коллегу Василия Степановича Цвяха. Тем не менее, мы против своей воли оказались среди вас, хотя и без права голоса. У вас здесь перегородка... фанерная, по-моему...
- А мы там бумаги листаем, уже часа полтора. Я уполномочен сказать вам, что у нас нет дурных намерений, что пользоваться вашими промахами мы не хотим.
- Давайте представимся, – сказал академик Посошков, поднимаясь из своего кресла, изящный, как юноша, в своем темно-брусничном костюме. – Это профессор Натан Михайлович Хейфец. Это кандидат Федор Иванович Дежкин, в прошлом наш студент. Это наш завлаб – генетик и селекционер Иван Ильич Стригалева, доцент, доктор наук...
- Громоздкий и худой, как дикарь, Стригалева распрямился, словно выбираясь из клетки, и показал стальные зубы, и что-то толкнуло Федора Ивановича. Он уже видел когда-то давно такое измятое лицо и стальные зубы у одного геолога...
- Иван Ильич, – сказал Стригалева. – Доктор, только не утвержденный.
- Это Леночка Блажко, кандидат...
- Тоже не утвержденный, – отозвалась Лена с улыбкой и полупоклоном.
- А это наши цитологи...
- И сразу поднялся навстречу новому человеку чистенький старичок с пестрым бантом на шее – вчерашний синий бегун.
- Торквемада... – шепнул ему Федор Иванович.
- Ваше преосвященство... – чуть слышно пробормотал бегун с еле заметным поклоном, как бы приложившись к руке Федора Ивановича. Тут же он выпрямился и громко назвал себя: – Вонлярлярский, Стефан Игнатьевич. Как это я мог не узнать своего студента?
- Леночка, кофе гостю, – сказал академик. А Леночка уже несла полную пробирку, и жесты ее, как иероглифы, которые Федор Иванович сразу прочитал, говорили: хоть вы и ревизор, я васнисколько не боюсь и даже полна любопытства.
- Такая у нас кофейная посуда, – сказал академик.

– Я примерно догадываюсь, что это за посуда, – Федор Иванович принял от Лены кофе, еле сдержав ухмылку. – Она у вас, конечно, носит ритуальный характер...

Как раз в это время маленькая искорка плавно опускалась перед ним и, наконец, села ему на мизинец.

Это была мушка-дрозофила – знаменитый объект изучения у морганистов. Она несколько раз раскрыла крылышки и сложила, пробежала вправо, пробежала влево и исчезла.

– Кажется, дрозофила меланогастер, – сказал Федор Иванович. – Правда, я не очень в этом...

– Фруктовая мушка, могла запросто с улицы прилететь, сейчас лето, – небрежно заметил Стригалева.

– Мне показалось... у нее были красные глаза, – возразил с улыбкой Федор Иванович. – Я читал Добржанского.

– Составим акт? – угрожающе-устало сказал профессор Хейфец.

– Уж и акт! Однако у мушки был такой же вызывающий вид. Она заодно с вами!

– Вся природа заодно с нами, – сказал профессор. Он уже лез на вилы.

Академик подошел к нему, положил руку на плечо.

– Натан Михайлович, не забывайте, вы лежите в обороне.

– Кто лежит в обороне? – раздался зычный голос от двери. Там стояла невысокая тяжеловесная женщина с тройным блинчатым подбородком, как бы в тройном ожерелье, да еще с двумя нитками красных крупных бус. – Это вы в обороне? Федор Иванович! Дай-ка, посмотрю, чем они тебя поят. Это же пробирка, в которой формальные генетики разводят своих мух! Ничего, пей, этим нас не проймешь! Так кто лежит в обороне?

– Анна Богумиловна, теперь, когда вы пришли, уж, наверно, мы зароемся все в землю, – сказал профессор Хейфец.

– Федор Иванович! Светозар Алексеевич! Какая же это оборона! Зачем они повесили портрет нашего президента с ветвистой пшеницей, когда знают, что у академика с нею неприятности?

– А вот зачем, – ответил профессор. – Открыто критиковать вас нельзя. Так пусть ваши собственные позы, слова и дела будут вам критикой. Не хватает еще, чтобы мы за вас думали, как оберечь вас от позора.

Федор Иванович покраснел.

– Неужели вы так твердо уверены в своем?

– Да нет, свое-то мы знаем пока очень слабо. Мы хорошо, прекрасно знаем ваше. Оно было актуально двести лет назад. Когда смотрели не в микроскоп, а в линзу Левенгука.

– Тогда и мне придется высказать свою точку зрения. Мне кажется, что ваша наука идет на ощупь от факта к факту, как бурят землю геологи. Все глубже и глубже. Вам кажется, что скважина идет прямо, а ее повело куда-то в сторону. В какую сторону повело, повело ли вообще – не знаете. Знай бурите, думаете, что прямо.

– Ну, сейчас так не бурят.

– Вы как раз так и бурите. Наставляете звено за звеном и последовательно бурите. А мы...

– Диалектически? Скачкообразно?

– Натан Михайлович! Запрещенный прием!

– А ваш художественный образ?

– Это я в пылу. А в общем-то я даже могу вам показать все наше расписание ревизии наперед. Завтра, например, я приду к Ивану Ильичу, буду смотреть его журнал и работы. Вам остаются сутки на подготовку. Если бы наши отношения строились не на товарищеских началах, я бы этого не сказал. Это я к тому, что нам с вами надо оставить эти взаимные подковырки.

– Что же касается нашей науки, – забасила Анна Богумиловна, – она совсем на других основах... Мы перекидываем мосты. Опираемся на диалектику, которая является наукой уни-

версальной и дает нам законы движения всего сущего в материальном мире. Мы строим по имеющимся точкам фигуру и находим те точки, которые еще не известны. Они могут быть очень далеко впереди. Практики получают пшеницу...

– Анна Богумиловна, ветвистую, – как бы умирая, пролепетал профессор.

– Пшеницу, – поддержал ее Федор Иванович. – А ваша наука будет заполнять частные пробелы. Как в каркасном доме – уже сделана крыша, а проемы еще заполняются кирпичом.

– Ваш академик нас лучше назвал – трофейной командой.

Профессор теперь устало полулежал, навалившись на свой стол. Когда зашла речь о диалектике, он сразу поник, утратил интерес к спору. Светозар Алексеевич, закинувшись назад, словно любовался своим бывшим учеником и перебирал сухими пальцами на подлокотнике.

– Ваше преосвященство, дайте знамение, – негромко, но все же внятно сказал Вонлярлярский, и лицо его, похожее на увядший, подсыхающий плод, осклабилось. Он перешел черту, и это задело Федора Ивановича.

– Знамение получите, получите. В надлежащее... – он тут же почувствовал, что сказал что-то очень двусмысленное и скверное. Запнувшись, он покраснел и отчетливо заявил: – Все, что я сейчас здесь наговорил – глупость, плод запальчивости. Все слова беру назад и прошу у всех прощения. И еще одну пробирку кофе.

Сказав это, он просяще улыбнулся. И все вокруг примолкли, увидев, как вдруг необыкновенно похорошело его лицо. Оно не было гладким, даже производило впечатление жесткой суровости. Может быть, поэтому нечастые его улыбки радовали собеседника, как долгожданные просветы, паузы для отдыха. Ему не раз говорили об этом свойстве его улыбки, и, боясь как бы она не стала чарующей и фальшивой, боясь начать пользоваться этим своим несчастным даром, он совсем почти не улыбался, держал себя под контролем.

– Конечно, такая полемика мало помогает выяснению истины, – сказал смущенно Вонлярлярский, оглянувшись на Анну Богумиловну. – А если посмотреть на нашу работу с позиции контенанса, все в этой комнате – последовательные в своей основе мичуринцы.

Короткий смешок подбросил профессора, полулежавшего на столе. Натан Михайлович радостно посмотрел на украшенный сложным пробором затылок Вонлярлярского.

– Кроме меня, – раздельно проговорил он. – Такой контенанс меня не устраивает.

– Пойдем отсюда, – заколыхалась Анна Богумиловна, таща Дежкина к двери. Он оглядывался, разводил руками. – Пойдем, пойдем! Надо работать, они заморят тебя своим контенансом. Ты же обещал смотреть мою пшеницу! Я же – Побияхо, Анна Богумиловна, ты забыл меня?

И пришлось комиссии идти в ее комнатку на втором этаже, уставленную снопами, пахнущую, как овин после сбора урожая. Василий Степанович Цвях – седой, весь мускулистый, твердый, больно стиснул в коридоре руку Федора Ивановича.

– Молодец. Я все слышал. С ходу между глаз им врезал!

Но чего-то не договорил. Посмотрел, пожевал губами и сам себя пресек.

А в кабинете долго стояла остывающая тишина. Потом профессор Хейфец, устало охнув, вышел из-за стола, головой вперед протопал к двери. Были слышны его шаги в коридоре – он заглянул в соседнюю комнату, отгороженную фанерой. Вернувшись, запер дверь.

– Он, по-моему, порядочный человек. В первый раз встречаю у лысенковцев. Светозар Алексеевич, что может делать у них такой лыцарь? Диву даюсь...

– Он еще студентом такой был, – сказал академик.

– Мне он тоже нравится, – проговорил Стригалева.

– В том-то и беда, – продолжал профессор. – Мне он кажется страшно опасным. Такие вот святые монахи и были главными сжигателями. И винить нельзя – святые побуждения!

– Это верно, монах, – вздохнул Вонлярлярский. – Доминиканский монах, подпоясанный веревкой. Вместо веревки – ковбойка...

– Нашу бы Леночку прикомандировать, – сказал профессор. – Чтобы пококетничала с ним. Чтоб узнала, когда нам, как говорится, собирать сухари...

– Ну уж вам-то и сухари... – бросил с места Стригалева.

– А вы, Иван Ильич, готовьтесь. У вас ведь есть еще ночь.

– А что готовиться. У меня прививки. Все делаю, как велит корифей. И результаты те же...

Все засмеялись.

– Конечно, развязать ему язычок – это было бы хорошо, – сказал профессор, и все посмотрели на Лену.

Она, склонив набок голову, грела колбу с кофе. «Да, я слышу, слышу», – говорила ее поза.

Часа в четыре дня Федор Иванович и его «главный» – Василий Степанович Цвях, сильно уставшие от своей контрольной деятельности, подходили к двухэтажному, такому же розовому, как и остальные, кирпичному зданию. Здесь жили работники института, а на первом этаже среди стен метровой толщины членам комиссии была отведена сводчатая келья. Ревизоры из Москвы прошли между домами и многочисленными сараями к сильно осевшему в землю каменному крыльцу. Около крыльца, на земле, стоял кубический каркас из планок, обтянутый проволоочной сеткой. Там, сбившись в кучу, о чем-то азартно хлопотали десятка два грязно-белых цыплят. Над клеткой склонилась уборщица тетя Поля.

– Что делают, что делают, шпана окаянная! – запричитала она, увидев своих гостей. – Ну, прямо как люди!

– Что случилось? – спросил Василий Степанович как старший в комиссии.

– А вот, посмотри сам, что делают. От роду два месяца, а уже кровь им живая нужна. Ну прямо как люди. Кыш-ш!

Стая разлетелась по клетке, хлопая крыльями, и Федор Иванович увидел блюдце и около него увядшего цыпленка с окровавленной головой.

– Гребешок у него клюют. Сейчас вот заберу этого – так нового ведь найдут! Безобидная, называется, птица...

– Действительно, – удивился Цвях. Впрочем, его заботили более важные вещи, и, остановившись на крыльце, он вдруг сказал: – Хоть она и доктор наук, эта Побияхо, а в пшеницу ее я не верю. Что-то быстро очень она переделала свою яровую в озимую.

– Но пшеница хороша, – заметил Федор Иванович.

В комнате Цвях, тряхнув одной и второй ногами, ловко сбросил ботинки и с удовольствием растянулся на своей койке. Федор Иванович раскрыл перед ним свой огромный потертый портфель, полный длинных папирос, и разъяснил, что он сам набивает гильзы, потому что любит особую смесь табака, туда входят некоторые известные ему травы, в том числе и мелилотус официналис. Узнав, что это обыкновенный донник, Цвях сказал:

– Я предпочитаю «Прибой». Но попробую.

Они оба задымили. Федор Иванович, прежде чем лечь, подошел к телефону – его привлек обрывок бумаги с крупными каракулями: «Туманова ишо позвонить».

Минут через сорок телефон зазвонил. Низкий, полный женский голос, торжествуя, пропел:

– Это ты, пропащий? Паралик тебя расшиби! Приехал еще позавчера, и носу...

– Антонина Проко-офьевна! – закричал Федор Иванович, приседая от радости. – Антонина Прокофьевна!

– Постригся, говорят, в монахи, получил звание кандидата, такие перемены, а чтоб старым друзьям ручку...

– Антонина Прокофьевна!

– ...ручку чтоб, всю в перстнях, пахнущую сандаловым деревом, без очереди протянуть для поцелуя старым друзьям...

– Я сегодня же...

– Почему я тебе и звоню. Сегодня в моей хате сборище. Чуешь? В семь! Будет хорошая компания, приходи. В семь, не забудь. Лучше, если придешь в полшестого. Чтоб мы могли поговорить.

– Только я не один...

– Знаю. Товарищу Цвяху скажи, чтоб тоже приходил. В семь. А сам в полшестого. Будет и дядик Борик. Посидим втроем...

Это звонила Туманова, в прошлом артистка оперетты. Когда-то она начала было выходить в знаменитости, но непредвиденные обстоятельства изменили всю ее жизнь, и теперь почти пятнадцать лет она лежала с параличом обеих ног, зарабатывая статьями в газетах и журналах.

– Идем сегодня в интересное место, – сказал Федор Иванович своему товарищу.

К половине шестого он, побродив по городским улицам, застроенным двух- и трехэтажными старинными домами, вступил в кварталы Соцгорода с его одинаковыми пятиэтажными зданиями, сложенными из серого силикатного кирпича. Он нашел нужный дом, поднялся на третий этаж и у темной двери нажал кнопку звонка. Из-за сетки, закрывающей круглый зев в двери, раздался знакомый поющий радиоголос:

– Это ты-и-и?

– Это я, – сказал он.

Последовал железный щелчок, и дверь отошла. Он шагнул в коридор. Две старухи молча застыли у входа на кухню, как два темных куста с опущенными ветвями. Он пересек узкую комнату и, миновав никелированное кресло на велосипедных колесах, вошел в квадратную, светлую. Зеленый волнистый попугайчик тут же, порхнув, сел к нему на плечо.

Туманова полулежала на высокой кровати черного дерева среди нескольких больших подушек. Хорошо расчесанные старухами черные, как бы дымящиеся волосы тремя черными реками разбегались по розовым и белым с кружевами подушечным холмам. На белом, утратившем упругость, мучнистом лице, на дерзко-алых губах постоянно жила насмешка над судьбой. В коричневатых тенях укрывались, приветливо сияли черные глаза.

Федор Иванович поцеловал ее в щеку и в висок. Наклоняясь, он увидел в ее волосах знакомую платиновую веточку ландыша с бриллиантовыми крупными продолговатыми цветками. Когда-то цветков было восемь, и все бриллианты были разных оттенков. Баснословная драгоценность подтаяла за эти семь лет – осталось только пять бриллиантовых цветков – белый, фиолетовый, розовый, зеленоватый и желтый. На месте остальных висели пустые платиновые чашечки.

– Куда же три алмаза дела? – спросил Федор Иванович нарочно грубым тоном. – Там же был и черный...

– Бы-ыл, бы-ыл! – ответила она таким же грубоватым тоном курящей фронтовички. – Целая исто-рия! Мой мужик-то, душа из него вон... Изменщик оказался... Жени-ился!

Есть у некоторых врачей манера говорить с больными – громкий голос, бодрый тон, шутки. Мол, ничего страшного не случилось. А тут больная, да еще сильно обиженная разговаривала со здоровым человеком таким же докторским веселым тоном, чтобы, чего доброго, не вздумали ее жалеть...

– Женился, паразит! Мужичья природа. Она завсегда свое возьмет! А уж кого облюбовал, ты бы посмотрел. В серьгах... Так я ему свадебный подарок. Машину купила. Мужичье и есть мужичье, машину любят больше, чем жену! Ну раз так – получи... Два камушка ушло. А потом родилась кроха, еще один продала. Крохе на зубок, хи-хи!

– Ты мне про него раньше не говорила.

– А что было говорить? Был счастливый брак.

– Он здешний?

– Здешний. Каждый день в окно могу любоваться, как на работу идет.

– Тоже Туманов?

– Не-е, я не стала брать его фамилии, – она любила такой стиль разговора. – Потому как фамилии его мне не заправилося. Самодельное. И вообще, он был порядочный мерзавец.

– А что же ты...

– Такая вот была. Как розовая глина мягка под любящей рукой. Мне нельзя было делать аборт, потому как у меня после трамвайной катастрофы... Я говорила тебе? Ведь пятнадцать лет назад я угодила, меня угораздило, Федяка, в настоящую катастрофу. У-у! С жертвами! После нее-то и началось – ногу нет-нет да и приволокну. А он вот так руку мне на коленку кладет: делай, душенька, аборт, я тебе и доктора нашел... После доктора этого и не встала больше. Самец он, это верно, хоть куда. Сейчас, правда, пожух.

Они замолчали. Волнистый попугайчик хлопотал на плече у Федора Ивановича, кланялся, шептал какие-то слова.

– Вот так, Феденька, я и лежу. До сих пор. Сколько мы не виделись? Семь лет? Иногда бабушки сажают меня вон в ту мансарду, как ее дядик Борик назвал. И мы катаемся по комнатам. Иногда и на балкон выезжаем. Я тут стала, Феденька, со скуки вейсманизм-морганизм изучать. Распроклятого Томаса Моргана достала.

– Не страшно?

– А что бояться? С меня, с инвалиды безногой, что возьмешь? Посадить захочешь – так надо же ухаживать! Я и так уже сижу... И Лысенку вашего тоже штудирую. «Клетки мяса», «клетки сала». Мне кажется, ваши враги ближе к существу. Смотри, не напори ерунды...

– Где же ты Моргана добыла?

– Это я буду отвечать на страшном суде. А тебе, Федяка, если и скажу, то когда-нибудь потом. Когда будешь без юридических полномочий.

Тут в комнате повис райский звук – будто ударили карандашом по хрустальной посудине. Туманова сунула руку под подушку. Рука у нее была полная, красивая... Вытащила микрофон на шнуре.

– Дядик Борик? – пропела она. – О-о! Вы даже вдво-ем! Стефан Игнатьевич! Милости просим, тут вас ждут.

Оба вошли, разгоряченные спором, и за ними, как тень, Вонлярлярская. Стефан Игнатьевич поцеловал ручку Тумановой и, запустив палец за бантик на шее, покрутив гладко причесанной лысоватой головой, не разгибаясь – снизу – пустил своему оппоненту шпильку:

– Может быть, где-нибудь зарыт под землей платиновый эталон добра? Что такое добро? Что такое зло? Дайте сначала дефиницию!

– Мы с вами сейчас будем спорить, а Учитель выставит нам отметку, – сказал высоченный Борис Николаевич, с плутоватым и добрым, длинным, как у борзой, лицом. При этом он радостно кивал, здороваясь с Федором Ивановичем, ловя его руку. Он снял свою инженерскую фуражку с кокардой и бережно положил ее на полку с книгами. – Пока мы шли, Федор Иванович, я вспомнил ваше историческое доказательство и уложил его на лопатки. Вот этого. Только ему мало оказалось. Видать, ничего не понял. Давай ему дефиницию. Вот ответьте, Стефан Игнатьевич, нужно спасать тонущего?

– Нужно. Ну и что? – старенький Вонлярлярский со вздохом облегчения упал на стул. Уселся и дядик Борик, перекинул ногу через колено, и Федору Ивановичу показалось, что одна нога инженера дважды, как тряпка, сплелась вокруг другой.

– А может быть, не нужно? – дядик Борик обнажил беззубые десны.

– Ближе к делу! Ну и что?

– А почему нужно?

– Не знаю.

– Вот когда вы мне дадите дефиницию, почему нужно, спасать, я вам дам вашу дефиницию – что такое добро.

– Почему, можно и раньше дать, – спокойно сказал Федор Иванович. – Только нужно – как яблоню выкапывают – подходить к стволу, начиная с самых тонких корешков. Вот скажите – вы признаете, что страдание абсолютно?

– С этим, пожалуй, согласиться можно, – Вонлярлярский наклонил голову, будто пробуя что-то на вкус. – Да, я согласен.

– Можно мне? – капризничая, вмешалась Туманова. – Феденька, а если мне нравится, чтоб болело?

– Тогда это не будет страдание! Это будет наслаждение! Ты не путай – причины страдания – да, могут быть разными. Но само страдание есть страдание. Оно не может нравиться.

– Я с вами согласен. И даже чувствую, куда вы хотите нас привести.

– Чувствуете, но не то, Стефан Игнатьевич. Вот на вас падает кирпич и причиняет страдание. Что это?

– Зло...

– Вот и неверно. Разве камень может быть злым? Разве в Библии не сказано – не обижайся на камень, о который ты споткнулся? Камень, гвоздь в ботинке – это безразличные обстоятельства, причиняющие вам страдание. И только. А вот если я желаю причинить вам муку и бросаю в вас камень. Как суд назовет этот поступок? Зло-намеренным! Значит, зло – это качество моего намерения, если я хочу причинить вам страдание. Вот вам дефиниция.

– А если я, намереваясь причинить страдание, хочу через это страдание излечить человека? – спросила Туманова.

– Ну, хитра! Все зависит именно от того, чего ты на самом деле хочешь: излечить или причинить страдание. Чего ты действительно хочешь, таково и твое намерение. Может, ты злая и хочешь, чтоб я страдал, а разговоры о лечении – маскировка.

– Феденька, я все поняла.

Борис Николаевич, как ученик, поднял руку.

– А если я хочу вам, Стефан Игнатьевич, доставить приятность – понимаете? То качество такого моего намерения – добро. – Тут он слегка поклонился сначала Тумановой, а потом, подчеркнуто, – Вонлярлярскому. – Та же самая дефиниция, но со знаком плюс.

– Дядик Борик у нас отличник. Ему – пять с плюсом, – положил Федор Иванович резолюцию. – Но я, товарищи, не устаю удивляться, откуда эти разговоры об относительности? Ведь доброта и злоба иногда потребляются в чистом виде! Когда мне говорят доброе слово, не дающее ничего полезного для моего кошелька, я ничего не получаю! Ничего, кроме ощущения счастья! То же и со злом. Поймаешь взгляд, адресованный тебе, полный ненависти, и страдаешь. И так было три тысячи лет назад...

– Самый настоящий диспут! – воскликнула Антонина Прокофьевна. – Ты сейчас это все придумал?

– Семь лет носил. Нет, больше. Лет пятнадцать. С тех пор как сотворил свое первое дело, причинившее хорошему человеку серьезное страдание.

Опять в комнате повис поющий звук.

– Леночка! – радостно, но все же по-докторски воскликнула Антонина Прокофьевна. – Давай, давай! Скорей к нам! Охо-хо! Гость повалил!

Вошла Лена Блажко. На ней было сине-черное с мелким белым горошком платье. Вязаную кофту она уже сняла и держала в руке. Потом повернулась и бросила ее на спинку кровати. При этом свободном повороте она будто разделась на две части – настолько тонким оказался перехват. «Если обнять, – подумал Федор Иванович, – обязательно коснешься пальцами своей груди, круг замкнется».

А она, как бы в ответ, повернулась к нему и посмотрела очень строго сквозь большие очки.

– Здравствуйте, – сказал Федор Иванович, смутившись.

– Здравствуйте, – ответил высоко над ним мужской голос.

Оказывается, сейчас же за нею вошел Стригалева. Он был на этот раз в малиновом свитере, глухо охватывающем тонкую кадыкастую шею. А седоватые вихры так и не причесал с утра.

– О чем гутарили? – спросил он, навалившись плечом на косяк двери.

– Разговор, Ванюша, был интересный, – сказала Туманова. – Жаль, тебя не было. О добре и зле. Кстати, Феденька, у тебя ведь было еще историческое доказательство. Давай-ка его нам!

– Он доказывает, что добро и зло безвариантны, – задумчиво проговорил Вонлярлярский.

– Но ведь это верно! – воскликнула Туманова чуть громче, чем надо. – Если спас человека – почему спасший ходит кандибобером? Он открыл в себе нечто! Даже если нельзя никому рассказать – все равно!

– Мне кажется, – осторожно заметил Вонлярлярский, – он ходит, как вы сказали, кандибобером, потому что в доброте есть элемент эгоизма. Добрым поступком человек прежде всего удовлетворяет свою потребность в специфическом, остром наслаждении...

– Не то, – сказал Федор Иванович, почему-то темнея лицом. – Добро – страдание. Иногда труднопереносимое.

Все умолкли, Вонлярлярский легонько хихикнул. Стригалева округлил глаза и выразительно повернул голову, словно наставил ухо.

– Потому что добрый порыв чувствуешь главным образом тогда, когда видишь чужое страдание. Или предчувствуешь. И рвешься помочь. А почему рвешься? Да потому, что чужое страдание невыносимо. Невозможно смотреть. Когда мне в медсанбате сестра перевязывала рану, знаете, какое лицо у нее было... Такая была написана боль... Вот примерно так. А приятное ощущение возникает уже потом, когда все сделано. Когда спас и сам не утонул. Тут уж и кандибобером пройдешься! Так что никакого эгоизма в добрых делах нет, Стефан Игнатьевич. Если есть, это не добрые дела.

После некоторого общего молчания Туманова захлопала в ладоши, сверкая перстнями, и объявила:

– Ладно, хватит страданий! Ты, Феденька, идешь на кухню, там бабушки дадут тебе самовар. А остальные мальчики выдвинут на середину стол.

Самовар был из красной меди, весь в вертикальных желобках, он сверкал и шумел. Ручка крана была как петушиный гребень, вся медно-кружевная, особенная, чтобы открыть кран, ее надо было не повернуть, а опустить вниз. Федор Иванович принес самовар и утвердил на столе, который уже накрыли скатертью. Лена ставила стаканы и блюда. Сев в сторонке, Федор Иванович иногда хмуро посматривал на нее. Он заметил, что у нее красивые темные, но не черные волосы, гладко начесаны на уши и заплетены сзади в хитрый лапоток. Карие глаза опять посмотрели на него в упор через очки. Еще заметил он ее широкие честные брови. «Она, должно быть, на редкость чистая душой, что ни подумает – сразу выдает движением», – такая мысль вдруг пришла ему в голову. Заметил он и чувственную пухлику маленького розового рта. Но тут же увидел бритвенное движение губ и переносицы, отвергающее плоть. И подумал: «Ишь, какая...»

– Что-то стаканы трескаются, – сказал дядик Борик. И за столом он был выше всех на голову. – Давайте, Леночка, налейте мне, а я загадаю, пустят меня за границу на конгресс или нет.

Все весело зашумели.

– Сейчас все полезут гадать, – Стригалева покачал головой. – Давайте, Леночка, наливайте мне тоже. Загадаю: утвердят мне докторскую степень?

В тишине запела струя кипятка. Стаканы не лопались.

– Не утвердят, – сказал Стригалева.

– Паразиты, – поддержала его Туманова.

– А вы будете гадать? – спросила Лена Федора Ивановича.

– Я не верю в судьбу. Еще одно разочарование...

– А во что вы верите?

– Ни во что не верю. Впрочем, налейте, загадаю одну штуку. В виде исключения.

– И что вы загадали? – спросил Вонлярлярский.

– Тайна.

«Если лопнет стакан, то, что мне кажется, – правда, и я на ней женюсь», – загадал Федор Иванович.

– Я тоже загадала на этот стакан, – сказала Лена и опустила кружевной гребень крана. Заклокотал, заиграл в стакане кипяток.

Все молчали. Подождя – может быть, лопнет, – Лена, наконец, подвинула стакан на блюдце Федору Ивановичу и торжествующе улыбнулась – словно знала все. Он шевельнул бровью и, несколько разочарованный, принял свой чай.

– Налейте теперь мне, – сказала Туманова. Тут-то и раздался выстрел. Кому-то повезло с гаданием. Федор Иванович огляделся по сторонам, ища счастливого, и вдруг взвыл от ожога – это его собственный стакан лопнул, кипяток вытек на блюдце и промочил его брюки. Стакан целиком отделился от доннышка.

– Ничего себе, цена! – шипел от боли счастливый Федор Иванович. – Заглянул, называется, в будущее!

Лена смотрела на него строго. «Что-то подозрительное ты загадал», – говорило ее лицо.

«Неужели и я так говорю лицом и глазами, и она читает!» – подумал Федор Иванович.

– Федя, у тебя обязательно сбудется, – сказала Туманова. – Это тебе говорит квалифицированная гадалка. Но приготовься. Будет страдание.

– Так как же у вас все-таки обстоит с верой? – спросил Стригалева, глядя в свой стакан.

– Есть, Иван Ильич, три вида отношения к будущему и к настоящему, – с такой же серьезностью сказал Федор Иванович, выставляя вперед три пальца. – Первое – знание, – он загнул первый палец, – основывается на достаточных и достоверных данных. Второе – надежда. Основывается тоже на достоверных данных. Но недостаточных. Наконец, третье, что нас сейчас интересует – вера. Это отношение, которое основывается на данных недостаточных и недостоверных. Вера по своему смыслу исключает себя.

Сказав это, он нечаянно взглянул в сторону Вонлярлярского. Тот пристально изучал его. И тут же, немного запоздав, опустил глаза. Чтобы не смущать его, Федор Иванович отвернулся и встретил серьезный, несколько угрюмый взгляд Стригалева. И этот опустил задрожавшие веки. «Они все боятся меня», – подумал Федор Иванович и отвел глаза. И прямо наткнулся на строгий, внимательный взгляд Лены сквозь очки. Похоже, весь этот вечер Туманова устроила по их заказу – чтоб они «на нейтральной почве» могли присмотреться к Торквемаде. И дядик Борик потому сел рядом и даже иногда приобнимал его – он знал все и хотел поддержать Учителя.

Опять прозвучал хрустальный сигнал.

Это был Василий Степанович Цвях в своем командировочном темном и несвежем костюме, краснолицый, мускулистый и седой. Он появился в двери и окинул общество доброжелательным взглядом. Увидел Туманову, пронес свои желтоватые седины к ней, представился и, кланяясь, попятился к двери.

– Извиняюсь, – сказал он, вежливо дернувшись. – Я прервал вашу беседу.

– Васи-илий Степанович! – пропела Туманова баском. – С вашим участием она потечет еще веселей! Вот кого мы сейчас спросим. Вы не слышали нашего спора. Как вы считаете, Василий Степанович, может быть в добре заключено страдание?

– В добре? Вполне. Это была самая любимая тема моего отца. Я запомнил с его слов несколько цитаток. Одна как раз сюда подходит. «Сии, облеченные в белые одежды, – кто они и откуда пришли?» – Тут Цвях поднял палец. – «Они пришли от великой скорби».

– Ого! – почти испуганно сказал Стригалева. – Это он сам сочинял такие вещи?

– Такие вещи не сочиняют, – сказал Василий Степанович с чувством спокойного превосходства. – Их берут из жизни, записывают... И текст сразу становится классическим трудом. Это Иоанн Богослов, был такой мыслитель. Ваш вопрос занимал людей еще тыщу лет назад.

Наступило долгое молчание.

– Василий Степанович... – осторожно проговорила Лена. – Мы тут гадали. Хотите погадать?

– Никогда не гадаю. Даже в шутку.

– Не верите в судьбу, а? – хитро подсказала Туманова.

– Вообще ни во что, – был скромный ответ с потупленными глазами. Федор Иванович удивленно на него посмотрел.

– Позвольте, но когда-нибудь вы верили? Кому-нибудь... – осведомился Вонлярлярский, трясаясь от старости и изумления.

– Когда-то... Когда совсем не думал. Тут или думай, или верь... Но, товарищи, у каждого накапливается опыт. И у меня, значит, это самое...

– Еще один неверящий! – Туманова захлопала в ладоши. – И вы с нами поделитесь?

– А что делиться, дело простое, – Василий Степанович прошел к столу, уселся и хозяйским движением руки попросил себе чаю. Лена ответила чуть заметным наклоном головы.

– Я могу позволить себе верить только на основе личного опыта, – сказал Цвях, принимая от нее стакан. – Личного опыта, который, к примеру, говорит:

«Дед Тимофей всегда верно предсказывает погоду». Здесь я доверяюсь своему опыту и получается уже не вера – а почитай что знание. А когда говорить про погоду берется неизвестный мне человек, тут я могу только притвориться для вежливости. Стало быть, никакой веры. Никаких призраков.

– Простите, простите... – послышался голос Вонлярлярского. Эти мысли для него были новы, и он странным образом крутил головой, чтобы они улеглись как надо. – Простите, – сказал он, – как же я могу жить в семье, если «никакой веры»?

– А зачем верить? Ты ведь знаешь, что они тебя не обманут. Простите, я хотел сказать, вы знаете. Так это же лучше, чем говорить им: «Я допускаю, что вы меня не обманете, я верю вам». Особенно, если с затяжкой такой скажу. Нет! Я знаю вас! И безо всяких там колебаний, без веры отдаю вам все свое. Берите! – Иногда у Василия Степановича прорывался деревенский акцент.

– И в коммунизм нельзя верить, а можно только знать? – не отставал Вонлярлярский, округлив глаза, крутя головой. Федор Иванович посмотрел на него с укоризной.

– Не можно, а нужно знать, – ответил Цвях. – Этим он и отличается от религии.

– В общем, да, конечно... А вы-то много знаете?

– Если честно сказать, очень мало. Не имею достаточных данных.

– Вот видите... А говорите, верить нельзя. Как же без веры?

– Очень просто. То есть, вернее, сложно. Ищу данные и буду искать, пока не найду.

– И тут данные! Вы не сговорились с Федором Ивановичем? – спросил изумленный Вонлярлярский.

– А чего сговариваться? К этому все придем. Зачем мне верить, что "а" есть "а", если я знаю это. Зачем мне верить, что "а" есть "б", когда я знаю, что это не так. Правда, современная

мудрость говорит... Ну, пусть докажет. Верить – это значит передать свой суверенитет. Можно матери. Можно другу. Можно – испытанному авторитету. Испытанному. И все – до определенной точки. Я верю матери, но знаю, что она недостаточно образованна. И когда она говорит об эпилептическом припадке: «Возьми за мизенный палец, поддержи и все пройдет», – я мягко, чтобы не обиделась, обхожу ее совет. И никому я не поверю, кто мне скажет: «Возьми за мизенный палец». Даже если это будет говорить самый что ни на есть... Я вычеркиваю начисто всякую веру и отлично, товарищи, обхожусь одним знанием. А так как я знаю, что его у меня маловато, – тем более.

– То есть как? – изумился Вонлярлярский.

– А так. Не суюсь!

– Феденька, а почему это ты ни во что не веришь, можно узнать?

– Я? Тот же путь. Бывают встречи, столкновения... И налагают печать на всю жизнь.

– На тебе так много печатей? Видно, бедокурил в юности, так я понимаю?

– А кто в юности не бедокурил? – добродушно заметил Цвях. – Все бедокурят.

– Федяка, ты что-нибудь нам... Случай какой-нибудь из опыта...

– Расскажу, – и Федор Иванович посмотрел на Лену: – Пожалуйста, мне стаканчик чаю.

– Может, мужчины хотят водочки? – предложила Туманова. – Могу дать.

– Не-е, – Цвях отвел водку рукой. – С водкой так не поговоришь. Самовар! Наливайте полный самовар! Да чаю еще заварить!

Получив свой чай, Федор Иванович помешал в стакане ложечкой.

– Только это будет не та, не первая история, где добро и зло. Ту историю я пока поберегу. А вот некоторую сказку... Про черную собаку... – тут он страшно на всех посмотрел и добавил: —...с перебитой ногой. Черная такая была, аккуратная собачоночка. Она была не виновата, что родилась с красивой блестящей черной шерстью. Как будто черным лаком облитая... Не была она виновата и в том, что люди именно черный цвет называли цветом проклятия и несчастья. И тайной всякой пагубы. Не серый и не желтый какой-нибудь, а черный.

Он не спеша, чувствуя, что все заинтересовались и забыли о своем другом интересе к нему, отпил полстакана чаю.

– Вот так... Было это в Сибири, в тридцатом, кажется, году. Мне было двенадцать, и родители устроили меня на лето в деревню, к знакомому крестьянину...

– Не мешай! – гаркнул Вонлярлярский на жену, сбросил ее руку со своего плеча и уставился на Федора Ивановича.

– Ну, понятное дело, единоличник. Изба, амбар, рига. Спали мы с хозяйским сыном в амбаре на ларе. Хозяин, помню, все говорил о нечистой силе. Не спите в амбаре, говорит, она, в основном, шебаршит там, где икон нет – в амбаре да в овине. Ходил я с ними и в поле помогать. Весело работали. Весело и дрались с соседней деревней по праздникам. Да... Дрались-то дрались, а вот ведьму гнать объединились. Обе деревни. Сама ведьма жила в нашей деревне, на краю. Учительницей когда-то была. Все ее боялись. Хозяин говорил: ведьма как ведьма, очень просто. Чувствуете? Он так верил, что это казалось знанием! Ведьма она и есть. Как ночь – перекинется собакой черной и бежит по огородам, вынюхивает, значит. А корова потом молока не дает. И не ест ничего. Не залюбила ведьма нас, – это хозяин говорит, – не подвез я ей дров. Некогда было, да и с ведьмой связываться кто захочет? Все ему, хозяину, было ясно... Вот и отправились две деревни и мы всей семьей. Родители, дочка – пятый класс, сын из техникума, шестнадцатилетний, и я, ваш покорный слуга. Чистим оба зубы «хлородонтом», а в нечистую силу верим! Под утро вернулись с победой. Черную собаку подняли на огородах, погнали. Наш Толя бросил удачно палку, перебил ей переднюю ногу. На трех ускакала. А на следующий день ведьма вышла из своей избы, мы глядь – а у нее рука замотана тряпкой. И на перевязи... А потом – через несколько дней – ведьма исчезла куда-то. Изба так и осталась пустая. Никто не селился. Думаю, учительница вышла специально – попугать дураков, посмеяться. Руку я

сам видел. Ну, а Толю я встречаю лет через восемь – он уже в этом районе пост занимал. В партии уже был. Я ему говорю: «А помнишь, Толя, как ты ведьме руку перебил?». Как он смутился, как заелозил! «Во-он, что вспомнил. Глупость то была, детство, нечего и вспоминать». А сам оглядывается – разговор при публике был. Я думаю, у многих людей в жизни была такая встреча с черной собакой. Не только у отсталых крестьян. Гонят – и верят, что гонят ведьму...

– Собака и образованных навещает, – сказала Туманова. – Только тут собака породистая. Черненькая такая болоночка...

– Именно, – подтвердил Цвях. – Тут даже дело не в образовании, а в вытарашенных глазах. Бывает, образованный, а глаза вытарашит раньше, чем подумает. Я помню, в тридцатых годах прямо полосами находила на людей дурь. Безумие такое. Вдруг начинают выискивать фашистский знак, будто бы ловко замаскированный в простенькой и ясной картинке спичечного коробка. Ищут – и у всех вытарашенные глаза. И оргвыводы, понятно, для несчастного художника. Или на обложке школьной тетрадки вдруг высмотрят руку, протянутую к советскому гербу – чтоб сорвать. И пошло – шепот на закрытых собраниях, отбирают у ребятишек тетрадки. В огонь! Знаний мало, вот и кажется всякое. Верят! В разную чертовщину...

– Вроде вейсманизма-морганизма, – подсказал Стригалева.

У гостей повеселели глаза. Но Цвях этого не заметил.

– Напомни им сейчас, кто остался жив, про тетрадки, про спичечный коробок. «Что-о? – закричат. – Еще что вздумал – в старье копать!»

– Я все же до конца не удовлетворен, – возразил обиженный голос Вонлярлярского. – Что же тогда нам делать с этими прекрасными стихами: «Честь безумцу, который навевает человечеству сон золотой»?

– Там сказано, Стефан Игнатьевич, во-первых, «если». Если мир дороги найти не сумеет, – возразила Туманова. – А мир отыщет ее в конце концов. Я, во всяком случае, верю...

– Не верю, а надеюсь, – поправил ее Цвях. – А золотой сон – что? Одни будут спать, а другие – шарить у них по карманам. Где вера, там больше всего спешат от верящего что-нибудь получить. Авансом. Деньгами. Или подсунуть бумажку какую-нибудь подписать. Нет, сна не нужно. Только знание.

Когда гости начали расходиться, Туманова подозвала Федора Ивановича, потянула его к себе, зашептала.

– Дай сюда ухо. Как тебе моя компания? Как тебе эта девочка? Не правда ли, хороша? У нее и жених подходящий, скажу я тебе.

– Кто?

– А вот стоял. Стригалева, ты с ним уже знаком. Они вместе работают над картошкой. У него есть кличка, студенты прозвали. Троллейбус, хи-хи-и! Ты их уж не трогай, когда начнешь свою ревизию. Хватит с него, он ведь уже сидел. За это самое – за Менделя-Моргана. И твой брат, к тому же, фронтовик. Ладно?

Поэтому, прощаясь с Леной, Федор Иванович был сух и даже невежливым образом продолжал разговор с Цвяхом, показывая, что очень увлечен. Это у него получилось само собой – он не смог бы иначе скрыть свое неожиданное страдание. Она же, держа его руку и слегка пожимая, не отрывала глаз от его лица. Но пришлось все же оторвать, и, надев кофту, она поспешила к двери, за которой на лестничной площадке ее ждал этот угрюмый Троллейбус.

Даже тот, кто хорошо знает этот город, попав на его улицы вечером, каждый раз замечает некую особенность. Если днем город с его преобладающими двухэтажными домами дореволюционной постройки кажется однообразным и сонным, то с наступлением темноты он как бы оживает. Пестрота человеческих судеб, скрывающаяся днем в этих одинаковых грязно-желтоватых стенах, за одинаковыми окнами, отчетливо выступает, как будто ночью-то здесь и начинается настоящая жизнь. Вот яркий, как звезда, свет. Как окно больничной операционной. Вот фисташковый – будуар русалки. Вот желтое окно – как стакан слабого чая. Вот – ста-

кан вина. А вот искусственный дневной свет, мертвенный, как в морге. Здесь прячется от суда читающих газеты современников упорный идеалист-кибернетик. Или вейсманист-морганист куёт свои вымыслы, идущие на пользу врагам человечества. Из тех, кто смотрел на этот город только днем, никто, конечно, не мог подумать, что здесь может родиться и даже прогреметь знаменитое групповое дело с участием профессоров и студентов.

Федор Иванович и его «главный» – Цвях медленно брели по тускло освещенным улицам, углубленно курили и молчали. И на них произвело впечатление живое разнообразие смеющихся и подмигивающих окон. Они прошли добрую половину пути, когда Василий Степанович вдруг сказал:

– Чем больше читаю, Федя, тем больше вокруг дремучего леса. Словно как поднимаюсь вверх над тайгой, и нет ей конца. А там, внизу, на чистой полянке, было все так ясно! Вот мы говорим, ругаем, насмехаемся, а она возьмет да и подтвердится.

– Кто?

– Кого ругаем. Лженаука...

Они прошли в молчании несколько шагов. Вдруг Василий Степанович остановился.

– Хошь, признаюсь, Федя? У нас за деревней, где я родился, в поле был холм. Вроде кургана. А на нем каменный крест. В двадцатых годах молодежь наша деревенская собралась – накинули на этот крест веревку и сдернули его, сволокли куда-то. Теперь он лежит, даже не знаю где. И я участвовал – всю жизнь, считай, этим подвигом гордился. А вот теперь маленько из истории узнал. Батый по этим местам проходил, татары. А в курганах-то этих русские кости. Наших защитников. Крест-то был, Федя, к делу поставлен. Видишь, чем я гордился всю жизнь!

Они опять двинулись дальше. Цвях развел руками:

– Куда деваться! Переучиваться? Делать все наоборот и понимать наоборот? А будет ли толк? Стоит ли вносить этот хаос в башку, когда для дела нужна максимальная ясность?

– Вносишь все-таки не хаос, а ясность...

– Так раньше тоже считали – уж куда ясней. И новую ясность ведь пересматривать придется, черт ее...

– А не вносить ясность – еще больше будет хаоса. Тогда надо, в вашем-то случае, историю перемарывать. Вычеркивать заслуги людей, страдания, кровь... В нормальной человеческой душе всегда должны оставаться хоть несколько процентов ее объема – для сомнений. Это чтоб не было потом хаоса...

Спать ложились, не зажигая света. Разуваюсь, Цвях кряхтел.

– Да-а-а... Вот ты ревизовать приехал. Ре-ви-зо-вать! Значит, у тебя этих процентов сомнения нет? Чего молчишь?

Василий Степанович затих, дожидаясь ответа. Но не дождался.

– Ты хорошо сегодня утром выступал, – проговорил он, почесываясь. – Это правда, наша наука другая. Ей свойствен наступательный характер, – Цвях, видно, убедил себя в чем-то и успокоился. – Ни к чему ей эти несколько процентов в душе. Пятая колонна сомнений. Мы опираемся на надежный фундамент. Потому и в разговоре с ними, это верно, ты умеешь взять нужный тон. Убеждаешь...

– А вот про кукушку – вы это уже слыхали, Василий Степанович? Что она вовсе не несет яиц, а просто скачкообразно возникает как новый вид в яйце другой птицы... Определенного вида... В результате условий питания... На какой же это фундамент может опираться?

– Слышал, слышал. Да, это высказывание и меня, пожалуй, озадачило. Ну да... Но ведь и Иосиф Виссарионович нашего академика не одернул. А уж Иосифу Виссарионовичу не откажешь в знании диалектики.

Сосед затих, Федор Иванович начал согреваться под одеялом. Он уже представил себе Елену Владимировну, как она ходит среди людей – чистая, слегка приветливо кланяясь каждому, с кем встретится глазами... Вдруг ему показалось, что в комнате кто-то шепотом позвал:

«Вася, Вася, Вася...» Вздрыгнув, он широко открыл глаза и, поняв, в чем дело, рассмеялся. Это Василий Степанович в раздумье чесал волосатую грудь. Потом совместил этот звук с обширным вздохом.

– Галстук не снял. Думаю, что мешает? Надо же, рубаху снял, а галстук остался. Тоже когда-то был черной собакой. Отрекались ведь от него...

Он опять почесал грудь.

– Думаешь, я не повышаю уровень? Знаешь, чем больше повышаешь, тем больше сомнений родится. Вот наследственное вещество. Мы его так легко ругаем. Во всех учебниках. А в чем же еще наследственность, как не в веществе? – Цвях возвысил голос, даже со слезой. – В святом, что ли, духе? Третьего-то места ведь нет!

III

Вот все говорят: интеллигенция! – громко провозгласила тетя Поля, войдя со щеткой и ведром в комнату, где легким утренним сном спали члены комиссии.

– Опять разоряешься, Прасковья? – спросонок пробурчал Василий Степанович.

– Да еще поэт! – тетя Поля прыснула и покачала головой. – Сундучок... Хотела выкинуть. Пора, думаю, пятьдесят ему лет, если не боле. Весь растрескался, крышка болтается. Кинула за сарай. Так этот, бородатый, в женских туфлях тут крутится. Как Золушка. Сначала кругами ходил. Я думаю, что такое, не студентку ли где присмотрел. Потом хватить сундучок – да ловко как! – и засеменял, засеменял... Беда с вами, с интеллигентными!

– Выдумывай. На что ему сундучок?

– Он знает, на что. Пригодится. Вас сегодня когда ждать?

– Сегодня мы ухалим в учхоз. До вечера... Они пришли в учебное хозяйство к девяти. Пройдя ворота, Федор Иванович увидел поле, разбитое на множество делянок. Среди делянок двигались фигуры – студенты и пожилые преподаватели с раскрытыми журналами. По вспаханному краю поля в сопровождении группы студентов ехал гусеничный трактор, волоча какую-то сложную систему из колес и рычагов. Вдали стояли две ажурные оранжереи. Туда и направилась комиссия.

– Наверно, все собрались сейчас там и смотрят на нас из-за стекол, – сказал Цвях. – Ждут.

– Могло бы быть и наоборот, – заметил Федор Иванович. – Могли бы они нас проверять.

– Это ты верно. Если бы ихняя взяла... Сегодня был первый основной день ревизии – проверка работ в натуре, первый решающий день. Федор Иванович где-то в глубинах своего "я" чувствовал боль – там уже зародилась туманная и болезненная симпатия к Стригалеву – может быть, из-за того, что Троллейбус не только сталью зубов и не только повадками был похож на одного геолога, которого уже не было в живых и по отношению к которому в душе Федора Ивановича осталась кровоточащая царапина неискупленной вины. Ведь Троллейбус к тому же и «сидел»...

Новая рана назревала, уже начинала чувствоваться – ведь Федор Иванович «рыл яму» не под кого-нибудь, а именно под того, кто был женихом Лены. Прямо как кроткий царь-псалмопевец Давид, который возжелал Вирсавию и потому послал ее мужа Урию в самое пекло войны, чтобы там его убили. «Удивительно, – невесело подумал Федор Иванович, – что ни случится в жизни, какая ни сложится ситуация – ищи в Библии ее вариант. И найдешь!»

Они вошли в боковую дверцу и оказались в теплой застойной атмосфере оранжереи. Действительно, у выхода собрались человек восемь, и среди них – Стригалева в сером халате, как бы наброшенном на крест. Последовали рукопожатия, несколько шуток были выпущены на волю. Как весенние мухи, они не взлетели, а проползли слегка и замерли, дожидаясь тепла. Вежливый смех только усилил напряженность. Федор Иванович сразу определил нескольких «своих», то есть четких приверженцев так называемого мичуринского направления. Они предлагали начать с них и весело листали журналы, готовясь демонстрировать свои достижения.

– Ну что ж, – сказал Федор Иванович и сам почувствовал, что глаза его нервно бегают, ищут кого-то и не находят. Лены здесь не было. Хотя нет, – и она была здесь, стояла позади Стригалева. Но, увидев Лену, он потерял уверенность – ему нельзя было теперь смотреть в эту сторону.

– Пожалуйста, начнем. Чьи это работы? – хрипло проговорил он, подходя к стеллажу, на котором плотно, один к другому стояли глиняные горшки с темно-зелеными картофельными кустами. Федор Иванович сразу определил, что это прививки – здесь занимались влиянием подвоя на привой и обратно – по методу академика Рядно.

– Это мои работы, – сказал пожилой бледный человек с угольными бровями и черными, глубоко забитыми, как гвозди, печальными глазами. – Моя фамилия Ходеряхин, Кандидат наук Ходеряхин. Здесь представлены несколько видов дикого картофеля, а также культурные сорта «Эпикур», «Вольтман», «Ранняя роза»...

Он долго, как экскурсовод перед группой провинциалов, приехавших в ботанический сад, показывал культурные и дикие растения. Кусты имели хороший вид. Темные плотные листья блестели.

– Азота многовато кладете, – сказал Федор Иванович.

– Для опытов по вегетативному взаимодействию это не мешает, – парировал Ходеряхин и продолжал свой пространственный доклад.

Федор Иванович, склонив голову, слушал и все плотнее сжимал губы.

– Простите, я вам помогу, – прервал он, наконец, Ходеряхина. – Вы, товарищ... пишете вот здесь, в московском журнале, о достигнутых вами результатах. «Сорт „Эпикур“, – это ваши слова, – будучи привит на сорт „Фитофтороустойчивый“, приобретает ветвистость куста, листья утрачивают свою рассеченность... – и так далее. – ...Листья сорта „Ранняя роза“ при прививке на „Солянум Демиссум“ становятся похожими на листья этого дикаря» – и тэ дэ...

– Негусто... Боюсь, что нам придется давать еще одну статью о ваших экспериментах. Вы пишете, Василий Степанович? Пожалуйста, пишите. Это важно.

На очереди стояли несколько аспирантов Ходеряхина – каждый около своих растений. Подобравшись, как для битвы, уже не видя ничего, кроме очередного горшка с картофельным кустом и очередного прячущего тревогу лица, Федор Иванович проходил от одного стеллажа к другому и уже не столько проверял, сколько учил молодых людей.

– А вы не пробовали вырезать глазки из клубней цилиндрическим сверлом для пробок? – слышался его уже спокойный, мягкий голос. – Попробуйте, это очень удобно, и привой точно входит в вырез на клубне подвоя.

– Никаких мало-мальски достойных внимания результатов, – вполголоса сказал он Цвяху. Кто-то все-таки услышал – шепот порхнул среди людей, стоявших поодаль.

– Здесь уже мои растения, – пропел у него над ухом чей-то снисходительный тенор. – Кандидат наук Краснов.

– Знакомая фамилия, – сказал Федор Иванович, задержав взгляд на тонком и извилистом носе вежливо склонившегося к нему лысоватого спортсмена со значком. – Я читал в журнале вашу статью, товарищ Краснов...

– Мною... нами было замечено, – начал докладывать спортсмен и, выпрямившись, развернул тяжелые плечи, но привычная сутулость опять стянула их, пригнула книзу, – ...было замечено, что сорта «Лорх» и «Вольтман», которые росли по соседству с местным сортом «Желтушка» – через дорогу... опылились пылью последнего, которая подействовала и на клубни обоих сортов... Последние стали в большинстве похожи на клубни сорта «Желтушка»...

– Это я все читал в вашей статье, – сказал Федор Иванович и умолк, медленно краснея. Помолчав, спросил: – То есть, вы хотите доказать, что если мать блондинка, а отец брюнет, то не только их дитя будет черноволосым, но и у матери глаза и волосы должны в ходе беременности почернеть... Таких случаев наука еще не знает. Следующей весной вы, наверно, повторите ваш эксперимент?

– Зачем? – оскорбленно, но сдержанно передернул тонкими девичьими бровями Краснов. – Я уже другой запланировал.

– А известно ли вам, товарищ Краснов, что картофель не перекрестное, а самоопыляющееся растение? Вы же вуз кончали! Пыльце вашей «Желтушки» здесь нечего делать. Это вы представляете себе? Да она и не перелетит через дорогу!

Краснов, странно улыбаясь маленьким ротиком, глядел в сторону. Федор Иванович, окинув его фигуру быстрым взглядом, невольно задержался на громадном красно-фиолетовом кулаке, который двигался вниз, как самостоятельное живое существо. «Что он там делает?» – подумал Федор Иванович и сразу увидел стиснутый в кулаке теннисный мяч. «Ага, он тренирует кулак», – осенила догадка. Шевельнув бровью, он покачал головой.

– Товарищ Краснов! Я вижу, вы не согласны. Но вы должны это знать – картофель не ветроопыляемое растение. У него пыльца не как у злаков, не может летать. Она тяжелая, как крахмал. И устройство пыльников – они никогда не раскрываются полностью. Там есть такая маленькая пора – и через нее пыльца просыпается по мере созревания, прямо на собственное рыльце. Понаблюдайте, насекомые не посещают цветков картофеля – там нечего брать. И не потому, что пыльца какая-нибудь невкусная. Я сам, еще студентом... Останется, бывало, в пробирке лишняя пыльца картошки – высыпал ее на прилетную доску в улье. Пчелы мигом всю подбирали! Поняли? То, что вы говорите, физически невозможно: тяжелая пыльца, если не прилипнет к рыльцу, отвесно падает на землю. Слава богу, очень рад, что не могу назвать ваш опыт каким-нибудь таким словом... Здесь, к счастью, просто полное незнание того, с чем имеешь дело. Ох, ох, товарищи... Что это – два часа? Нет, на сегодня я уже мертвец...

– Продолжим завтра? – сказал Цвях.

– Вот именно, – странно мигая одним глазом, шевеля гибкой бровью, Федор Иванович пошел из оранжереи. Цвях еле поспевал за ним.

– Уж больно ты их... Без снисхождения. Касьяну не понравится. Что это с тобой?

– Но почему он напечатал их статьи в своем журнале! – Федор Иванович остановился. – Почему Касьян их напечатал!

– Ладно, Федя, хватит правду искать. Пошли в столовую.

В столовой Федор Иванович сел за какой-то стол, чем-то закусывал, что-то брал ложкой из тарелки и все смотрел куда-то сквозь стены. Он не видел, что через стол от него прошли и сели Стригалева с Еленой Владимировной и несколько аспирантов. Лена что-то крикнула, и Цвях ответил, а он только оглянулся на них, ничего не понимая.

– Произвели они, однако, на тебя впечатление, – заметил Цвях, принимаясь за лапшевник.

Пообедав, они сели на лавку около столовой и закурили.

– Что будем сейчас делать? – спросил Цвях.

– Я прогуляюсь часок.

– А я по старой испытанной привычке пойду лягу поспать. Лапша человека вяжет, он набухнет и спать ляжет.

И как только Цвях скрылся за воротами учхоза, из столовой быстро вышла Елена Владимировна, Федор Иванович в это время подобрал около лавки лежавшего на спине красивого жука-скрипуна. Его облепили муравьи и уже раскидывали умишками, как бы начать его заживо жрать. Федор Иванович старательно обдул муравьев. А думал о Стригалева. «Хорошо, что отложили на завтра», – думал он, рассматривая жука. Это Рыл большой узкий жук с живыми черными глазами, с длинными усами, похожий на интеллигентного дореволюционного авиатора в черном жилете из блестящего шелка, застегнутом доверху. А сюртук на нем был темно-серый, в мелкую светлую крапинку.

– Можно около вас сесть? – спросила Елена Владимировна, садясь. – Что вы тут делаете? Ого, кто у вас!

– Вот видите, жук... Скрипун.

Налюбовавшись, Федор Иванович осторожно посадил жука на землю, и «авиатор» бросился наутек, взмахивая ногами, как тростью, и не теряя осанки.

– Как вам наши генетики и селекционеры?

– Выше всяких похвал. Чудеса!

- Какие у вас планы на сегодня? – она нагнулась и пальцем провела на земле дугу. Он вопросительно посмотрел.
- Вы не слышали вопроса? – спросила она.
- Я ответил пантомимой.
- А вы словами ответьте. И по существу.
- Сейчас я пойду куда-нибудь. Только природе страдания незримые духа дано врачевать.
- Давайте врачевать вместе. Я покажу вам наши поля.
- Давайте, – сказал Федор Иванович ленивым голосом.
- Она взглянула на него удивленно.
- Может, подождем Ивана Ильича? – спросил он.
- Иван Ильич уже ушел, – она еще холодней посмотрела на него сбоку, начиная розоветь.
- Тогда пойдемте, – он решительно поднялся. И они долго шли молча куда-то вдоль какой-то канавы. Лицо Елены Владимировны постепенно заливала лихорадочная пунцовость.
- Слушайте, – сказала она, решившись и отойдя от него вбок шага на два. – Вы сегодня не похожи на себя, на вчерашнего. Вонлярлярский сказал бы, что у вас пропала коммуникабельность. Давайте, как пассажиры дальнего поезда, как случайные пассажиры, попутчики... Вы не знаете меня, я вас. Вы ведь уедете.
- А отвечать кто будет за разговор? Тот, кто задает вопросы?
- Да... Вы уедете – и разговора не было!
- Ну, пожалуйста. Задавайте вопросы.
- Где ваша коммуникабельность?
- Я катапультировался.
- Что это означает? – все так же лихорадочно, но весело она посмотрела на него.
- Нажимаю на кнопку, и меня выстреливает. Потом раскрывается парашют, и я мягко приземляюсь в другом мире, где и слыхом не слыхали о каких-то моих... неполадках на борту.
- А самолет?
- А самолет летит дальше.
- И разбивается?
- Мне с земли не видно. А потом там еще есть первый пилот. А я и не летчик. Дилетант без диплома.
- А если первого пилота нет? Самолет ведь может разбиться. Дилетанту без диплома и поднимать его в воздух нельзя было. Это государственная собственность.
- Не знаю. Вижу, экипаж укомплектован. Перегрузка. Вот и нажал поскорей... Что – я неправ?
- А кто вам сказал про экипаж? – с раздражением спросила Елена Владимировна.
- Вчера одному товарищу... Диспетчеру... показалось, что я проявляю дилетантский интерес к авиации...
- Ах, вот!.. Теперь все ясно. Вечно она меня замуж выдает! Нет никакого пилота, поняли? И никто вас не вызовет на дуэль, так что давайте разговаривать и катапульту не трогать.
- Дайте честное слово, – сурово потребовал Федор Иванович.
- Ну, даю. Честное слово.
- Хорошо. С чего же мы начнем?
- Она начала искать что-то на краю канавы. Потом наклонилась и сорвала какой-то жиденький стебель с яркими желтыми цветками.
- Природа сейчас излечит нам все страдания незримые. Что это такое? Я в первый раз вижу.
- Это? – Федор Иванович взял стебель, свел брови. – Это, действительно, нечасто встретишь. Потентилла торментилла, вот что это. Калган. Слышали такое название?

– Ого! – она почти с ужасом на него посмотрела. – Ничего себе... Я бы ни за что не определила. Потентилла – как дальше?

– Торментилла. Калган, или, еще его называют, лапчатка. А вот я сейчас... Сейчас я вам... – поискав в траве, он сорвал что-то. – Что это?

– Плантаго! – торжествуя, сказала Елена Владимировна.

– А какой плантаго? Подорожников много. Майор, минор, медиа...

– Ну, это, конечно, не минор...

– Майор. Плантаго майор. Видите, черешок длинный и желобком.

– Хорошо. Федор Иванович, а почему страдания незримые? – она заглянула ему в лицо.

– Разве вы ничего не видели?

– По-моему, торжество справедливости должно вызывать прилив...

– Но это так неожиданно, это торжество... Я вам прямо скажу: такие дураки мне еще не попадались. Да еще среди «своих».

– Ну, у наших с Иваном Ильичом ребят такого вы не найдете. Если мы и будем вас наду-вать, то по крупному счету. По рыцарскому.

Они остановились. Он посмотрел ей в глаза. Она не отвела взгляда.

– Имейте в виду, я буду глубоко копать, – сказал он.

– Ну и что? Вот вы копаете и устанавливаете, что я морганистка, льющая воду на мель-ницу...

– А это я и так знаю. Я читал вашу диссертацию. По-моему, о преодолении нескрещива-емости... Там есть спорные места... Так что ваше лицо мне ясно. – Посмотрев ей в лицо, он улыбнулся. Она так и подалась к его улыбке. Но он ничего не заметил и не понял возникшей паузы. – Как вы учите студентов, мы знаем, – продолжал он. – Цвях сидел в вашей группе. Говорит, товарищ Блажко учит студентов правильно.

– Но я чувствую, Федор Иванович, по вашей хватке, кому-то из нас придется сушить сухари. А? Это не мои слова. У нас на кафедре об этом шепчутся многие.

– Лично я выгнал бы этих двоих... И больше никого. Пока...

– Вы сейчас сказали рискованную вещь. Я вижу, вы мне верите.

– Нет. Не верю. Но знаю, что вы меня не продадите. И потому отдаю вам все мое. Берите! Они оба засмеялись, и обоим стало хорошо.

– Откуда же у вас взялось это знание? Сколько мы знакомы? Два дня!

– Я вам сейчас изложу мою завиральную теорию. У нас, Елена Владимировна, в созна-нии всегда звучит отдаленный голос. Наряду с голосами наших мыслей. И наряду с инстинк-тами. Мысли гремят, а он чуть слышен. Я всегда стараюсь его выделить среди прочих шумов и очень считаюсь с ним. По-моему, тут обстоит так: ни один человек не может скрыть свою суть полностью. Скрывается то, что может быть схвачено поверхностным вниманием. А голос – отражение наших бессознательных контактов с той сутью, которой никому не скрыть. Хотя бы потому, что эту суть сам человек в себе не может почувствовать. Животные, на мой взгляд, руководятся больше всего отдаленным голосом, он у них более развит и не заглушается ника-ким стуком сложных умственных деталей. Поэтому животные не лгут.

– Возможно, что все так и есть, – Елена Владимировна тронула его руку. – Голос пра-вильно шепнул вам, что я не выдам.

Федор Иванович слегка смутился от этого избытка взаимной откровенности, и потому кинулся к природе – шагнул в траву и стал искать что-нибудь редкостное.

– Вот, – сказал он. – Вот. Что это?

– Щавель! – взяв у него красный стебелек с острыми листьями, Елена Владимировна пожевала его. – Самый настоящий «Румекс».

– Не спешите с ответом, товарищ Блажко. Род «Румекс» состоит из нескольких видов. И все щавели. Вы жуετε... Что вы жуετε?

– «Румекс ацетозелла», – сказала она и пошла вперед, торжествуя и покачивая головой вправо и влево.

Действительно, природа сразу поставила все на место, погасила все неловкости.

Они давно уже вышли через калитку из пределов учхоза и теперь брели по каким-то межам среди каких-то пашен к чернеющему институтскому парку, заходили ему в тыл. Елена Владимировна шла впереди, иногда оборачиваясь к нему и предлагая очередную ботаническую загадку, и он, роняя удивляющие ее безошибочные ответы, любовался ею, ее особенной женской мощностью, которая так и заявляла о себе. Это была маленькая веселая недоступная крепость. Лишь взглянув на эту девушку в очках, мужчина должен был отступить, угадав в ее натуре требования, соответствовать которым в состоянии далеко не всякий. Она все время двигалась в чуть заметном танце, в безоблачной меняющейся игре, и ее пальцы и все прекрасные узости фигуры в сером подпоясанном халатике непрерывно писали тексты, читать которые дано не каждому. Он еще вчера, с первых же минут навсегда отказался говорить ей безответственные приятности, которые, как и цветы, принято подносить женщинам. Строжайшее предупреждение на этот счет прочитал он в ее сдвинутых черных бровях. В них и была вся сила. И сегодня эти брови хоть и разошлись, но все время были готовы к жестокой расправе.

Обойдя с тылу почти половину парка, они перешли по мосту из бревен овраг с бегущим по его дну ручьем, притоком громадной реки, что незримо присутствовала, укрывшись за парком. Начались первые шестизэтажные дома города из серого кирпича.

– Дальше меня, пожалуйста, не провожайте, – вдруг сказала Елена Владимировна.

Взглянув на ее строгие брови, он, конечно, и не подумал показать ей свое удивление. Он тут же скомкал все свои пожитки и даже отступил на полшага.

– Я, собственно, и не...

Но Елена Владимировна объяснила:

– У меня гора дел. Надо сходить в магазины. А потом я иду к Тумановой. Сегодня я варю ей борщ.

«Вот этого бы не следовало ей говорить, – почему-то шепнул ему отдаленный голос. – Никто не требовал от нее таких уточнений».

– Превесьма... – сказал полушутливо и, как на шарнире, повернулся было, чтобы идти. Но она стояла с протянутой рукой. «Все еще катапультируетесь?» – говорило ее лицо.

Он пожал ей руку. «Я ведь катапультировался еще вчера, – ответила его изогнутая бровь. – Сейчас я стою на твердой земле, вдали от всяческих летательных аппаратов».

И он пошел, не оглядываясь, к парку, туда, где розовели вдалеке стены институтских зданий.

Он вошел в комнату для приезжих и увидел там своего «главного». Василий Степанович сидел на койке и закусывал. Перед ним на стуле была расстелена газета, на ней он расположил сваренные еще дома крутые яйца, растерзанную селедку, измятые в чемодане домашние пирожки. Тут же лежала книга Энгельса «Диалектика природы».

– Давай, подсаживайся, Федор Иванович, – сказал он. – Поможешь дошибать припасы, а то завоняются. Москва сейчас будет звонить. Докладывать буду Касьяну про наши успехи.

Федор Иванович подсел и взял пирожок.

– Понимаешь, Федя, – Цвях ел, энергично двигая всем лицом. – Понимаешь, смотрел я на тебя сегодня. Здорово ты знаешь свое дело. Здорово, ничего не скажешь. Правда, иногда ловлю себя: чем же кончится такая наша ревизия? Я бы один всех бы подряд одобрил. И Ходеряхина этого, и Краснова. Здорово ты их накрыл. Как они до сих пор держались? У меня, конечно, знания не то, что у тебя. Я практик. Доктора мне дали за результаты. Мне дед мой и отец – они были любители-селекционеры – столько оставили материалу, столько всего наоставляли, что мне и делов было – только осваивай да выдавай подготовленные почти за сто лет сорта. Две яблони у меня уже давно районированы. А ведь и это далеко не все. Ну, а научное обоснование

– тебе-то покаюсь – академик Рядно и Саул мне приделали. Саул этот, ох, и языкатый, сволочь, не дай бог к нему под горячую руку попасть. Ни одного живого места не оставит.

Задрезжал телефон. Цвях схватил трубку и, вытирая рот, покраснев, вступил в переговоры с Москвой.

– Ай?.. Да-да! Заказывал. Повторитя, барышня... Ай? Академик Рядно? Касьян Демьянович?

– Я тебе говорил, – как комар, запищал в трубке ответный голос, и Цвях чуть отвел ее от уха, чтоб слышал Федор Иванович. – Какой я тебе Касьян? Кассиан Дамианович. Ну-ка, повтори...

– Кассиан...

– Я ж тебе говорил! – академик загоготал весело. – Хоть я и народный, а имена у меня византийские. Императорские. Вот так, Вася. Ну, докладывай, как там наш молодой...

– Ой, не говорите, Кассиан Дамианович! Молодой, да ранний. Чешет так, что пыль и перья... С первой встречи, как даст... Нотацию им провел, мозги на место поставил. Ну, а сегодня работы смотрели. Нет, нет, формальных генетиков пока не трогали. Тут же с наскоку не возьмешь – надо присмотреться. Но Федя нанюхает, он крепко берет. Дело зна... Ай? Двоих наших пришлось... Окоротили. Чистая фальсификация. Да они и сами понимают, растерялись. Оглоблей хотели в рот заехать, думают, пройдет... Ходеряхин и Краснов...

– Странно, – пропищала трубка. – Ну да... Они согласились?

– Тут соглашайся не соглашайся, Кассиан Дамианович... Знаешь, когда за руку схватят, а в руке-то краденый кошелек...

– Ну, ладно. Только расстроил... Хотя, материалы все равно поступят ко мне. Посмотрим. Ну а как вейсманистов, еще не щипали?

– Завтра с утра.

– Ну, давай...

Цвях положил трубку. И сразу же телефон опять зазвонил.

– Кого еще черт несет, – недовольно проговорил Василии Степанович и поднес трубку к уху. – Алло!

– Меня! – отозвался вкрадчивый, но звонкий голос. – Меня несет черт, Василий Степанович! Как там Федяка, на месте?

– Здравствуйте, Антонина Прокофьевна! – Федор Иванович перехватил у него трубку. – На месте, на месте!

– Здравствуй, Федяка. Это я тебе решила позвонить. Думаю, дай-ка передам ему, что про него в институте дамы говорят. Хочешь знать? Там есть такая Шамкова. Анжелка. Аспирантка. Она тебя приметила и говорит другим кафедральным дамам: «Вот этот, который приехал нас проверять. Заметили, какой он корректный, обходительный, какая выдержка, такт. Ну, настоящий педант!».

Федор Иванович рассмеялся было, но что-то перехватило ему горло. И он, выждав для приличия паузу, спросил легким голосом:

– Ну как, хороший борщ вам сварила Елена Владимировна?

– Не то слово. За уши не оттянешь. Вот только что кончила обедать. Ты знаешь, когда он постоит суточка, настоится – ложку проглотишь!

– Вот и дали бы постоять!..

– Сколько же ему стоять? Вчера ведь варила...

– Та-ак... А что варила сегодня?

– Сегодня ей нечего у меня делать. Ты что, шпионишь за нею? Федяк!

Федор Иванович не мог прийти в себя от разочарования. Стоял с трубкой у уха и гладил себе голову.

– Ты куда запропал?

– Да не запропал, тут стою...

– Слушай-ка, есть хорошая идея: пригласи ее в кино! Ты очень строгий ревизор? Можно тебе?

– А что?

– Только молчок, хорошо? Ей нужно с тобой поговорить. Они там, бедняги, что-то предчувствуют...

– О сухарях, что ли? Уже поговорили.

– Да? Какой же ты молодец у меня! Я ей так и сказала: не бойся, его надо прямо спросить, он темнить не будет, это не в его натуре.

– Да-а... – сказал Федор Иванович. – Да-а... В общем, все так и должно быть...

Положив трубку, Федор Иванович опустился на койку рядом с «главным».

– Ты что? – спросил тот, глядя на него с подозрением.

– Да так как-то, Василий Степанович. Катапультироваться надо...

На следующий день к девяти часам они подошли к оранжереям. Они вошли в ту же дверь, что и вчера, окунулись в теплынь, и так же встретила их настороженная группа человек в восемь, и среди них, как всегда, несколько угрюмый Стригалеv, совсем плоский в своем халате, и Елена Владимировна, устремившая на Федора Ивановича сияющий лаской взгляд. Все поздоровались, и, как вчера, завязался непринужденный, полный напряжения разговор.

– У ректора, вернее, у Раечки, секретарши, книжечка интересная лежит, – негромко и между прочим обронил Стригалеv.

– Я думал, железнодорожное расписание, – Федор Иванович посмотрел на часы. Надо было начинать.

– Раскрыл, – продолжал Стригалеv, – внутри тоже как расписание поездов – столбцы. Вроде со станциями и полустанками. А потом смотрю: батюшки-светы! Это фамилии! И знаете, что оказалось? Нет, не угадаете. Приказ министра Кафтанова об увольнении профессоров и преподавателей, как там сказано, «активно боровшихся против мичуринской науки».

Федор Иванович опустил голову.

– Ваш институт тоже упомянут?

– У нас же еще ревизия не кончилась, – вставил статный Краснов, слегка выпятив фарфоровые глаза наглеца. – Данные про вас еще не поступили.

Все сразу смолкли от его бестактности. Федор Иванович покраснел.

– Тебе-то, товарищ Краснов, ничто не грозит, – сказал Цвях. – Ты же мичуринскую науку вон как поддерживаешь...

«Ну, мой главный! Ну, штучка!» – повеселев, подумал Федор Иванович.

Так поговорив, все прошли в глубь оранжереи. Здесь, на стеллажах, стояли горшки и ящики с разными растениями, и он сразу узнал высокий ветвистый стебель красавки с несколькими колокольчатыми фиолетово-розовыми цветками.

– Чей это ящик? – спросил Федор Иванович, сразу заинтересовавшись.

– Это мое творчество, – снисходительно к самому себе сказал Стригалеv. – И дальше все мое, Елены Владимировны Блажко и аспирантов.

– А что у вас здесь делает «Атропа белладонна»? – Федор Иванович не отходил от красавки, он сразу почуял интересный эксперимент.

– Она же пасленовая. Я привил ее на картофеле. Видите, как пошла! Все картофельные листья оборваны, но, представьте себе, завязались картофельные клубни! Разрешаю подкапывать...

– Очень интересно! – сказал Федор Иванович и, отложив в сторону свой блокнот, запустил руку в мягкую теплую землю. Пальцы его сразу же уперлись в большой твердый клубень.

– Очень интересно! – сказал он, отряхивая пальцы. – Прививка сделана до завязывания клубней?

– До завязывания. Мы ищем подходы к отдаленному...

– Да, я сразу понял, – Федор Иванович поспешно кивнул и встретился взглядом со Стригалевым. – Надо собрать клубни и проверить на алкалоиды, на атропин. Надо все точки ставить до конца, – сказал он со значением.

«Рискованно работаешь, – подумал он, поглядывая на Стригалева. – Атропина в клубнях может не оказаться, и это будет хорошая дубина у вас в руках. Против нашего... Против мичуринского направления...»

Ему не хотелось бить этого человека, так неосторожно подставившего себя под удар. «А имею я право бить за это? – вдруг спросил он себя. – Ведь это должны были проделать мы, прежде чем громогласно заявлять...» Он то и дело принимался изучать Стригалева с растущим болезненным интересом. Лицо Ивана Ильича было подернуто болезненной желтизной художия, кое-где были заметны фиолетовые пятна заживших чирьев – как потухшие вулканы, а один – около кадыка – похоже, действовал, был залеплен марлевым кружком.

Стригалева продолжал докладывать:

– Очень эффективен метод предварительного воспитания обоих родителей на одних и тех же подвоях...

Услышав знакомое слово «воспитание», мичуринец Цвях закивал головой.

– Мы взяли взрослые, уже цветущие растения томатов – сорт «Бизон». На один из них прививались молодые сеянцы картошки культурных сортов, а на другие – сеянцы дикарей. Когда зацвели – скрещивали дикие привои с культурными. Процент удачи скрещиваний доходил до ста... Здесь, вы видите, дикарь завязал ягоды. Видимо, томат расшатывает наследственную основу...

Цвях опять кивнул несколько раз. «Расшатывание», «наследственная основа» – это было хорошо знакомо ему.

На языке Федора Ивановича вертелся убийственный вопрос: первый эксперимент отрицает связь между подвоем и привоем, а второй подтверждает – как понять? «Не будем вдаваться в такие тонкости», – сказал он себе. Все двинулись дальше вдоль стеллажа, останавливаясь около каждого нового ящика или горшка. Комиссия в молчании осмотрела стебли табака и петунии, привитые на картофеле. Федор Иванович не стал подкапывать, он знал уже: и там были клубни. Здесь под мичуринской маской зрел хороший «финн-чек» для академика Рядно. Правда, все зависит от того, как подать. Но подавай не подавай, а дело сделано чисто, сама природа говорит в их пользу.

– И тут уже ягоды завязались, – рассеянно сказал Федор Иванович, остановившись перед какой-то очередной прививкой.

– Это Сашины работы, – заметил Стригалева. Высокий, он говорил как будто под самым коньком оранжереи. – Давай, Саша, докладывай.

Из группы аспирантов выступил красивый юноша, почти отрок, с узким лицом и прямыми соломенного цвета волосами, словно бы причесанный старинным деревянным гребнем.

– Здесь мы прививали картофель на черный паслен и на дурман, – сказал он, поднимая на Федора Ивановича смелые серые глаза. – С той же целью – расшатывание наследственной основы. Прививки, по-моему, хорошо удались...

– Это наш Саша Жуков, – заметил Стригалева, кладя ему руку на плечо. – Наш активист. Студент четвертого курса. Папа у него знаменитый сталевар. Ударник.

– Где же это ты, сынок, так набазурился прививать? – спросил Цвях. Все заулыбались.

– У Ивана Ильича набазурился, – ответил Саша.

– Хорошо бы исследовать эти ягоды на гиосциамин, – сказал Федор Иванович. – Ведь у дурмана все части содержат этот алкалоид. По нашей теории, он должен быть и в этих ягодах...

Саша оглянулся на Стригалева.

– Ну, раз теория... – сказал тот, встретившись взглядом с московским ревизором, от которого ничего не скрыть.

«Не зря Касьян к нему прицепился», – подумал Федор Иванович. Сильно обеспокоенный, он осматривал выставленные перед ним растения, читая по ним всю потайную и хитроумную тактику не сдавшегося борца. И только кивал, одобряя хорошо, чисто выполненные прививки и как бы не замечая подвоха. Один только раз он как бы проснулся, услышав знакомую фамилию.

– Шамкова, – прозвучал около него глубокий, крадущийся голос. Потом протяжный вздох. – Анжела... – Как будто с ним знакомились на танцах.

– Пожалуйста, что у вас? – кратко сказал он, бросив на нее мгновенный острый взгляд.

Она была крупная, с маленькой головой, туго обтянутой желто-белыми волосами, красный перстень горел на нежнейших пальцах с бледным маникюром. «Как же ты копаешься в земле?» – подумал Федор Иванович. Он бегло осмотрел какие-то выращенные ею гибриды, отметил в блокноте, что работа дельная, бьет в ту же точку, что и остальные, и перешел дальше.

Здесь, выставив, как на рынке, плоды своей работы, стояла Елена Владимировна – в халатике и в очках.

– Что продается? – спросил Цвях, подходя.

– Пожалуйста, – сказала она с легким поклоном и подвинула вперед несколько горшков. – Продаем картошку. Вот дикари «Солянум пунэ», «Солянум гибберулезум» и «Солянум Шиккии». Все привиты на томаты, у всех завязались ягоды от пыльцы культурных сортов.

– Интересный товар, – сказал Цвях.

– Ну, как с катапультой? – спросила она, прямо взглянув на Федора Ивановича.

Он отвечал с прохладным и проницательным взглядом тициановского Христа, которому фарисей предложил динарий:

– Катапульта – хорошее средство для выхода из аварийной ситуации.

– Он вчера говорил мне это слово, – сказал Цвях.

– Он всем его говорит, – заметила она.

– Сами прививаете? – спросил Федор Иванович.

– Вот этими инструментами, – она показала маленькие, почти детские руки с корявыми ноготками земледельца. Федор Иванович вспомнил руки Анжелы Шамковой. Да, природа не зря трудилась, создавая руки, и целью ее был не только хватательный инструмент, но и сигнализатор, – как сказал бы технарь.

– Чистая работа, – сказал он, оглядывая привитые кусты. И вдруг запнулся. – А что вот эт-то такое? – почти рванувшись вперед, он озабоченно указал на стоящий поодаль горшок со странным одиноким стеблем. Стебель был одет несколькими ярусами крупных листьев и был похож на этажерку. – Я что-то не узнаю... Это картошка?

– Это мой «Солянум Контумакс», – раздался над его головой голос Стригалева. – Я поставил его подальше от комиссии, но разве от вас что-нибудь скроешь...

– От него? – с восторгом сказал Цвях. – От него ничего не скроешь!

– Видите ли, – Стригалева вышел вперед. – Я никак не могу преодолеть его стерильность по отношению к культурным сортам... Не завязывает ягод.

– Какой-то странный «Контумакс», – сказал Федор Иванович. – Я же знаю этот вид. У вашего весь габитус крупнее. Чем вы его кормили?

– Хорошо накормишь, он и вырастет, – примирительно вставил беспечный Цвях.

– Вообще-то вы замахнулись, – недоверчиво проговорил Федор Иванович. – До сих пор, по-моему, никому еще не удавалось получить ягоды от такого скрещивания. Одно время иностранные журналы, – он обернулся к Цвяху, – были полны сообщениями о попытках ввести этого дикаря в скрещивание. Потом все затихло, и мировая наука подняла руки вверх. И отступились. По-моему, все – я правильно говорю? – это уже был вопрос к Стригалева.

– Вообще-то так и есть, – пробормотал Иван Ильич, глядя в сторону. – Но вот мы... Советская наука в нашем лице надеется все же найти...

– Этот эксперимент... Такая попытка – и в такой скромной тени...

Спохватившись, повинувшись отдаленному голосу, Федор Иванович умолк. Отвернувшись, оставил это странное растение в покое. Пора было заканчивать затянувшийся осмотр.

– Елена Владимировна, Иван Ильич, – сказал он, оглянувшись, как будто посмотрел – нет ли посторонних. – Возраст ваших растений месяца четыре, а то и пять. Когда у нас кончилась сессия академии? Двадцать дней назад. Я должен с удовлетворением... Хотя и не без удивления... отметить, – он не удержался и широко улыбнулся, – должен отметить, что ваша перестройка в верном направлении началась за полгода до того, как на сессии прозвучал призыв к перестройке. Это делает вам честь, но не всем может быть понятно. Теоретические позиции ваши многим ясны. Готовясь к этой ревизии, я пролистал некоторые журналы... По-моему, еще за месяц до сессии Иван Ильич выступал...

Цвях в восторге больно толкнул его в бок: давай жми! Стригалева молчал. Елена Владимировна, порозовев, смотрела в упор. Аспиранты оцепенели, ждали удара.

«Играешь, ласково прикасаешься к питающим трубкам», – Федор Иванович вдруг вспомнил разговор с Вонлярлярским.

– В общем, будем считать, что проверка ваших работ дала положительные результаты. – И став совсем непроницаемым, он повернулся к выходу.

«Что со мной случилось? – думал он, идя между стеллажами. – Будь это месяц назад, я бы вцепился и начал разматывать клубок...»

Они обедали за тем же столом.

– Крепко берешь, – сказал ему Цвях. – Я прямо помер от страха, когда ты их за глотку взял. В общем, ты правильно сделал, что отпустил. Ребята-то хорошие...

А когда вышли к лавке покурить, там уже сидели Стригалева и Елена Владимировна.

– Ну как, сварили вчера борщ? – спросил Федор Иванович, прямо взглянув ей в лицо.

– Еще какой! Из прекрасной говядины и свежих овощей. На три дня.

– Надо зайти завтра к ней, пообедать...

– Я пошел, – сказал Стригалева, поднимаясь.

– И я с тобой, – поднялся и Цвях. – Пусть молодые побеседуют...

IV

Они ушли, не оглядываясь. И тогда поднялась Елена Владимировна, прошлась, остановилась и носком туфли описала вокруг себя нерешительную кривую.

– Ну, что? Займемся ботаникой?

– Не знаю, поможет ли мне сегодня природа, – но он все же встал.

Они прошли в молчании до калитки, и когда миновали ее и перед ними открылись поля, она, плотно сжав губы, вопросительно посмотрела на него.

– Я обижен, огорчен и не знаю, как выйти из этого состояния, – сказал он.

Елена Владимировна молчала.

– Менее чем за сутки вы обманули меня три раза, – он благосклонно и холодно смотрел на нее. Она только ниже опустила голову.

– Вчера, – продолжал он, – вы вовсе не прогуляться пошли со мной, а на разведку относительно сухарей. Боюсь, что и сегодня у вас есть боевое задание...

– Есть и сегодня, – сказала она, тряхнув головой от смущения. – Но я и без задания пошла бы...

– Относительно этого задания. Вы все хотите узнать о том, как комиссия отнеслась к этим вашим, шитым белыми нитками мичуринским работам. Ну, во-первых, они все-таки похожи на хорошие мичуринские работы. Во-вторых, все это вполне можно принять за рвение: вы стремитесь ответить делом на призыв сессии: Цвях так и понял. А в-третьих, вы знаете, что я догадался, что дело обстоит совсем не так... Но я не брошусь, подобно гончему псу, по горячим следам. Мне не нравятся эти приказы министра Кафтанова. Я считаю их ударом по науке. Если бы была подлинная дискуссия без ласкового перебирания в руках у начальства наших питательных трубок... Вы знаете, о каких трубках я говорю?

Она кивнула.

– ...я, может, и полез бы в таком случае, при таких условиях, копать поглубже в ваших прививках. Но я уже сильно обжегся лет семнадцать назад на поисках правды. Я искал с закрытыми глазами... Теперь я тоже ищу. Но все время поглядываю на компас.

Высказав это, Федор Иванович остановился и так же холодно и благосклонно посмотрел на нее.

– Так что боевое задание ваше мы можем считать выполненным. Вы мне теперь можете сказать: не провожайте меня дальше, я иду жарить для Тумановой котлеты де-воляй. Я не пойду дальше, пока вы мне не скажете, почему вы в ответ на мою откровенность, в которой вы не сомневались, три раза – три раза! – солгали мне.

– Ну что ж, скажу, – ответила Елена Владимировна и, нагнувшись, на ходу сорвала травинку. – У меня, дорогой Федор Иванович, тоже есть своя завиральная идея. Я тоже не раз в жизни обжигалась, и предчувствую, что самое большое пламя впереди. У нас так много подлости... В прошлом году ехала в трамвае и потеряла билет. Билет стоит пятнадцать копеек. Казалось бы, возьми молча рубль штрафа и все. Так нет – все помешались на воспитании. Ваш академик воспитывает картошку, а эти – взрослых людей. Воспитывают на каждом шагу. Контролеры – молодые, все студенты, поймали меня и увели к себе в какую-то каморку. Допрашивали, фотографировали – и все с идиотской радостью, как будто счастливы, что я им попалась и что им разрешили меня терзать. Никаких доводов, никаких просьб о пощаде не слышали. А потом развесили свои «Не проходите мимо» по всему городу и в трамваях, и там я висела с пьяницами и хулиганами, в качестве «злостного зайца». Как вашу черную собачку гоняли. И билет ведь нашла потом, пошла к ним. Их начальник – тоже студент, в прыщах весь – только смеялся: «Во-от чепуха какая!». У нас в институте тоже есть свои любители воспитывать, – голос Елены Владимировны начал дрожать. – Один раз я опоздала минуты на три. И вдруг

через неделю смотрю – висит «Не проходите мимо», и там я. Фотография: вся растрепанная, вот с такими глазами бегу на работу. У нас есть такой Лылов, профсоюзный деятель. Вот он забирается на чердак или за угол прячется и фотографирует того, кто опоздает, кто на пять минут раньше уйдет – и в свою газету. Разумеется, когда мы остаемся после работы на три часа заканчивать эксперимент, этого он не видит. Когда вместо кино идем в выходной на овощную базу, в ледяное хранилище налегке идем картошку гнилую перебирать – это ему не интересно. И вообще грустно, Федор Иванович...

Елена Владимировна даже взяла его за рукав ковбойки, и они долго шли в молчании.

– Во-от... А уж случаев посерьезнее сколько было. Когда мою правду и против меня же... «У вас дома есть мухи-дрозофилы», «У вас есть книга Моргана», «Вы были там-то», «Вы сказали то-то». И так далее, Федор Иванович. И тэ дэ... И я вижу – никакой защиты! Ник-какой! Сплошное непонимание. «Так ведь у тебя, Ленка, действительно дрозофилы дома. Хочешь, пойдем к тебе домой и укажем тебе их, они у тебя в шкафу! Я бы на твоём месте их в кипяток...» Это подруга говорит. Верная. И тогда я придумала: если Людмила пользовалась шапкой-невидимкой, от Черномора бегала, то почему я не могу! Надо на всякий случай все время врать. Не просто скрывать что-то, а врать, говорить то, чего не было, выдумывать на себя всякую напраслину. Это чтоб не дать этим странным людям подлинных фактов. Чтоб отучить от охоты на человека. Им страшно хочется повеселиться на чей-нибудь счет. Пожалуйста, веселитесь! Иду, скажем, по приказу начальства в город – тут же заявляю в лаборатории:

«Девочки, я побежала в магазин». Лылов, конечно, строчит уже в свою газету. Корреспондентка уже сообщила. А потом, когда вывесит, я говорю: давай-ка, Лылов, снимай свой пасквиль и переписывай. Надо проверять информацию. И алиби ему в нос. Все смеются. А он злится – такая выверенная машина и дает перебои!

Она крепче схватила его за рукав.

– А потом, вы же знаете, кто я. Я – агент мирового империализма, я – ведьма. Я ночью превращаюсь в черную собаку. Сейчас я перестроилась, преподаю, что велит ваш Рядно. Но разве можно перестроить сознание? Ведь я все-таки немножко ученый, мне подавай факт. Картошку разрежь и капни йодом – сразу посинеет. Капай хоть здесь, хоть в Америке – все равно. И я уж если видела это, меня не заставишь думать, что не синее, а краснее. Говорить вот заставил ваш академик. А думаю-то я так, как оно на самом деле. И если я говорю, как велят, это чистое вранье. Обдуманное – чтобы спасти настоящую науку, спасти товарищей. Вы ведь тоже были мне враг. Впереди вас бежит молва: неподкупный, глазастый, глубокий, непонятный... Что еще? Ложноскромный, беспощадный. Еще страшней Саула. Если хотите знать, мне вчера было очень страшно начинать с вами разговор. А сегодня я чуть не умерла... Правда, отдаленный голос мне сразу начал шептать другое...

– Не рановато ли вы, Елена Владимировна, открыли мне свое... свое внутреннее лицо?

– Ладно уж. Беритя.

И они оба засмеялись, и им стало легко. Лена уже держала его под руку.

– Между нами кровь, – вдруг сказал он. – Мы с вами принадлежим к двум враждующим семьям. Монтекки и Капулетти.

Она ничего не сказала, взяла его крепче, и долго они шли в ногу по каким-то межам, ничего не говоря, целиком во власти отдаленного голоса.

– Расскажите, как вы обожглись семнадцать лет назад, – попросила она, не отпуская его руки.

– Просто так не расскажешь, – неуверенно, с раздумьем заговорил Федор Иванович. – Понимаете, бывают обиды, когда хочется дать сдачи, ответно насолить. Но это проходит навсегда. Я не представляю себе, как это – всю жизнь помнить оскорбление. Не умею даже руки не подавать скверному человеку. Здравоваюсь! Но понимаю, что иной на моем месте и не подал бы... Могут быть люди с вечной жадой отомстить. Я эту жадю понимаю... К чему это я? Ах

да, вот к чему: оказывается, может быть такая же вечная жажда, но противоположная. Нечто, связывающее душу, отнимающее свободу. Ощущение такое, будто мертвый – истлел ведь давно – тот, кого нет... Присутствует незримо и ждет с болью удовлетворения. А как удовлетворишь, если его нет? Отдаешь должок вместо него другим, отдаешь без конца. А это вот самое не убывает...

– Вы что – кого-нибудь убили?

– Соучаствовал...

– Так это же семнадцать лет назад было... Сколько вам сейчас?

– Тридцать один.

– Вам было четырнадцать?

– Даже тринадцать. Но для ответственности, для чувства личной вины это ничего не значит. История началась еще раньше – когда мне еще было двенадцать лет. После лета, когда гнали черную собаку. У нас в классе рядом с доской висел плакат: «Пионер всегда говорит правду, он дорожит честью своего отряда». И был рисунок, объясняющий, как именно я должен говорить эту правду. Нарисована была школьная парта и за нею – двое мальчишек вроде меня, какой я тогда был. Один сидит, совершенно сконфуженный, потому что нацарапал на новенькой парте свое имя – «Толя», и попался. А другой, чистенький и строгий, в красном галстуке, встал, поднял руку – просит слова. Брови сдвинул. И указывает на своего товарища. Вот так, говорит плакат, настоящий пионер должен себя вести. Понимаете? И я все думал тогда, изо дня в день глядя на этот плакат, как бы это лучше мне сказать эту правду. И все не находилось случая. Ябедничать на товарища за то, что имя на парте нацарапал, я не находил в себе духа. Да и мелко это мне казалось. Я хотел по большому счету. И ждал своего часа. Да... И час пришел.

Он подвел Елену Владимировну к страшному месту рассказа, умолк и посмотрел на нее. Нет, рука ее не ослабла, не опустилась, держалась за него.

– Вот так... Дело-то было в Сибири. Один раз весной к нам в класс пришел молодой геолог. Парень лет двадцати восьми... Но уже со стальными зубами. И держал перед нами речь. Мол, так и так, открыл я в вашем районе месторождение никеля. А никель – это же оборона, это же танки, самолеты... Мне нужны, говорит, помощники, надежные ребята, на все лето. Будем жить в палатках и работать, рыть шурфы до октября. Местные власти, мол, проявляют патриотизм, ассигновали средства, отпустили продукты, дали лошадь с телегой, инструменты. Ну и набралось нас, помощников, человек десять. Я – самый младший. И выехали. На месте уже он осторожно так нам открывает, что послан был сюда вовсе не никель открывать, а для прозаического подсчета уже известных запасов естественной краски охры. А уж на никель он сам нечаянно набрел. И загорелся. А в журнале приходилось рыть шурфов на охру показывать. Средства все израсходовал, охру не подсчитал, сильно погорел, рабочих не на что содержать, вот и кинулся к местным властям. Спасибо, люди хорошие попались, поняли. Так что и теперь приходится в журнале рыть шурфов на охру показывать. А насчет никеля нужно молчать. Местные организации в курсе, все загорелись, но все и молчат. Вся операция – сплошная тайна. А почему тайна – вот почему. У них в науке было вроде как у нас сейчас в биологии. То есть что говорит глава направления, никелевый бог, – то и истина. Если геологическая обстановка обнаружена такая или такая, здесь можно искать никель. А если другая какая обстановка – искать бесполезно. И даже вредно. А если ты все же что-то открыл и ищешь не там, где можно, то есть тратишь государственные средства, никелевому богу не нравится, и на тебя падает подозрение. Тогда, как впрочем и сейчас, часто было слышно такое суровое словцо – «враг народа». Этот случай, Елена Владимировна, открывает глаза на значение таких вот богов в обществе. Такой бог может стать бревном, лежащим на пути прогресса. Когда-то еще оно сгниет! Один человек, самый что ни на есть гений, никогда не исчерпает всех тайн природы. Вот в таких условиях принялись мы за работу. Привыкли к лопате, загорели. Тишина

в степи. Один раз выглянул я утром из палатки и увидел среди уже выцветшей степной растительности ушастую такую лисичку. Песочного цвета. Держит в зубах птичку со свисающим крылом. И на меня смотрит. Как закон вечности. Показала мне свои глаза – как жестяные – и исчезла. Как моментальное фото. Как видение. И я в тот самый миг постиг вечность некоторых отношений внутри животного мира и среди людей той породы, что еще не перешагнула, так сказать, рубеж развития. Есть, есть этот рубеж. Проходит в народе. Делит нас всех... Один кошку ногой подденет, а другой задумывается, как быть, если на его стуле Мурка сидит, а ему надо сесть... Осталась эта лисичка в памяти, как знак... И вот мы работаем, уже он в пробирке никелевый осадок нашел. В чемоданчике у него была такая лаборатория. А к августу трава еще больше выгорела, тишина стала еще глуше. А мы роем. И слышим – самолет тарыхтит. У-два. К нам летит. Ревизор прилетел, как вот я к вам. Кто-то донес, бога никелевого испугал. Мы все толкуем ревизору, как нам наш геолог сказал. Иначе говоря, врем. Но проверяющий был хоть молодой, а дотошный. Что-то унюхал. Писал, писал, потом улетел. А через месяц глядим – опять самолетики летят. Теперь два. На этот раз прилетел молодой военный – с наганом и портфелем. Отобрал у нас одну палатку и вызывает по одному на допрос. Старшие ребята все меня предупреждали: смотри же, Федька, говори все, как раньше. И вот он меня вызвал. Сначала все в глаза мне молча смотрел, анатомию моих мыслей делал. Потом прочувствованно так заговорил. Ты пионер? Ты же знаешь, как Владимир Ильич требует от всех говорить правду? А если не говорить правду нам, среди своих, как же мы будем бороться с врагами? Как будем завоевания Октября защищать? И я, конечно, все ему рассказал, с блестящими глазами – и про охру, и про никель. Старался до мелочей все припомнить. Он меня похваливает. Молодец, говорит, не спеши, все по порядку давай. А через час, смотрю, все ребята, как в воду опущенные. И на меня не глядят. А геолог сказал мне: «Ничего, ничего, Федя», – и по плечу похлопал. А потом его посадили в самолет, и все, – я его больше не видел. И с тех пор я стал как тибетский монах. Там такие монахи есть – ходят и веничком перед собой метут. Чтобы какого-нибудь жучка жизни не лишить. Она великая вещь – жизнь. Вот и я все время мету, с ужасом мету перед собой и, знаете, плохо получается. Плохо мету. Уж такой стал осторожный, каждый шаг выверяю... Совсем уйти от дел? В деревню пастухом? Так и там кого-нибудь заденешь. И обязательно хорошего человека... Но решение я принял и продержался добрый десяток лет, никому свет дневной не закрыл. А тут – уже на четвертом курсе – безобидно так поспорил. О бытии и сознании. Но задел какую-то нитку, и дядик Борик...

– Я знаю эту историю. Я считаю, что здесь вы совсем не виноваты. Вины вашей здесь нет.

– Но причинная связь есть. И следствие. За границу-то его не пускают. И вы знаете, после размышлений я пришел к чему? Что главная причина – необоснованная уверенность в стопроцентной правоте. Почему старуха на костер под ноги Яну Гусу принесла вязанку хворосту? Потому что была уверена без достаточного основания. Я права, я чиста, а он дружит с сатаной.

– Ну, а с дядиком Бориком – у кого была такая уверенность? Не у вас же?

– Я думаю, у того товарища, который довел до сведения...

– А никель, скажите... Никель нашли?

– Нашли никель. В то же лето. Он старших ребят всему успел научить, и они все делали, как надо, и к зиме получили богатый осадок. С ним и поехали – сначала в Новосибирск, а потом – в Москву. Теперь там комбинат стоит...

Елена Владимировна что-то хотела ему сказать, но только посмотрела и глубоко вздохнула.

– Вот и получается: держат старые грехи постоянно меня за шиворот. Как только предстоит какой ответственный шаг, только и думаешь о тибетском веничке. А какие безвыходные бывают положения! Посылает меня шеф на эту ревизию. Я сразу на ворота чувствую удерживающую руку. Только успел подумать: откажусь, а Касьян словно прочитал мысль: «Что, сынок,

не хочется ехать? Смотри, я могу и Саула послать». И он послал бы к вам Саула! Он бы послал. Уж лучше поеду я!

В этот момент они переходили овраг с ручьем по деревянному мосту. Федор Иванович, очнувшись, остановился.

– Здесь у нас погранзастава...

Она сильно тряхнула его руку.

– Ну-ка, хватит... Ведь, кажется, все ясно. Слышите? Хватит вам...

И повлекла его дальше, и они вступили на улицу, состоящую почти сплошь из одинаковых серых кирпичных домов. И она казалась им лучше всех улиц на свете.

– Хотите, пойдем ко мне, – сказала Лена. – Вот сюда свернем. Я покажу вас бабушке.

Они подошли к первой городской площади и должны были свернуть в арку большого восьмизэтажного дома. Но прежде чем войти под нее, Федор Иванович увидел красный спасательный круг, висящий на балконе четвертого этажа.

– Вон, смотрите... Круг! – сказал он.

– Это здесь живет поэт.

– Не Кеша ли Кондаков?

– Почему вы его Кешей? Вы его знаете?

– Я с ним давно знаком. Еще со студенческих лет. Он тогда жил в Заречье.

– Как вы его находите?

– Не могу сразу так – оценку...

– Странно... Кого ни спросишь, все так отвечают. У вас, оказывается, много знакомых в нашем городе. Больше, чем в Москве, а?

Они прошли под аркой и оказались среди нескольких по-городскому плотно согнанных в один двор семиэтажных зданий, похожих на казармы. В одном из этих одинаковых домов, на четвертом этаже, и жила в двухкомнатной квартире Елена Владимировна со своей седой маленькой бабушкой.

Они добрых два часа пили чай, сидя за большим столом вокруг старинного, отлитого из олова и посеребренного чайника, качающегося в ажурной оловянной и посеребренной подставке. Говорили всяческую чепуху и смеялись. Иногда Федор Иванович ловил на себе изучающий взгляд бабушки и думал: «Когда уйду, они будут говорить обо мне», – и от этого ему становилось еще легче и веселей.

А когда с чаем было покончено, Елена Владимировна поманила его в другую комнату. Здесь была чистенькая постель под бледным пикейным покрывалом, а у стены стояли два темных шкафа. Елена Владимировна, взяв его сзади за оба локтя, начала подталкивать к одному из них. Подвела и вдруг раскрыла дверцы. Яркий желто-голубоватый свет хлынул оттуда со всех полок. В шкафу в картонных подставках стояли десятки пробирок – из таких два дня назад Федор Иванович пил кофе в кабинете профессора Хейфеца. Они искрились и переливались, как огни в хрустальной люстре. Каждая пробирка была заткнута ваткой, и во всех кипела жизнь – там летали, скакали и сталкивались маленькие, как просяные зернышки, мушки. Дрозофилы.

«Касьян был прав, – растерянно подумал Федор Иванович, – у них здесь самое настоящее кубло, и я его прохлопал. Но с какой стати я должен забираться с ревизией в частную квартиру, под черепную коробку этих людей? Пусть разводят своих дрозофил, если хотят...»

Но был краткий миг – он, должно быть, шарахнулся от этих дрозофил, как Мартин Лютер, увидевший за окном своей кельи дьявола... Лихорадочное веселье вдруг овладело Еленой Владимировной.

– Все-таки устояли! Я думала, броситесь бежать. Можно подойти еще ближе. Теперь поняли, откуда тогда, у Хейфеца в кабинете, появилась дрозофила? Вот они! Прославленные в докладах академиков и даже государственных деятелей мушки! Видите, в разных пробирках разные мушки. Мутации. Когда привыкните к этому зрелищу, подумайте вот над чем. Я хочу

вам подарить одну такую пробирочку с мушками, чтобы вы у себя дома провели с ними эксперимент. Хотя вы и придерживаетесь других взглядов... Придерживаетесь вы других взглядов? – она заглянула ему в лицо. – Хотя вы и твердый единомышленник академика Рядно... Вы единомышленник академика Рядно?

– Не по всем пунктам...

– Тем более. Вам ведь надо знать, на чем строит свои домыслы семейство Капулетти. Опыт продлится двадцать пять дней.

– Я же уеду...

– Ах, да... Я почему-то была уверена, что вы никуда не уедете и останетесь здесь навсегда. Ну все равно. Увезете с собой, и будет вам память о нашем... Об этой ревизии.

И она, выбрав в шкафу две пробирки, капнула на каждую ватку, сидящую в горловине, из плоского флакона. Остро запахло эфиром. Все население пробирок мгновенно уснуло. Высыпав мушек на две бумажки, Елена Владимировна спичкой отсчитала десять мушек и сыпала в пустую пробирку.

– Видите, какие у них бесхитростные мордашки. Не умеют притворяться, – сказала она, заткнув пробирку ватой, глядя на нее и хорошея. – За это их и не любят.

– Пожалуй, надо взять, – проговорил он. – Я давно подумывал...

– Пять красноглазых – самки, пять бескрылых – самцы. Это будет чистый эксперимент, исключая всякую возможность подтасовки во имя святой идеи, – она засунула пробирку в карман его кофточки. – Кормить не надо – на дне пробирки кисель.

И он унес этих мушек к себе и, смущенно оглянувшись на Цвяха, поставил пробирку в стакан на подоконнике и закрыл бумажкой – так, чтобы глядя из комнаты, нельзя было понять, что в ней находится.

Вечером, когда зажглись огни, Федор Иванович вышел из дома прогуляться и подумать обо всем, что произошло за день. Остановившись на крыльце, он увидел около соседнего корпуса, под фонарем, красный свитер Стригалева. Иван Ильич стоял в позе отчаянного раздумья, будто искал выход из тупика. Вдруг подбодчился и крепко захватил в горсть нижнюю часть лица. Тени от фонаря делали впадины на его лице еще более глубокими, голодными. Что-то не давалось ему – какое-то решение. Сделав рукой вопросительное движение, пожав плечами, он все же решил что-то и зашагал – сюда, к Федору Ивановичу. И тот, приветливо улыбаясь, двинулся навстречу. Стригалев пересек его взгляд, но не замедлил шага. Пошел, понесся куда-то, уставив глаза вверх, как будто привязанный взглядом к невидимому проводу, протянутому над ним. Федор Иванович долго глядел ему вслед, пока его фигура, в последний раз мелькнув под фонарями, не исчезла в темноте. Теперь, наконец, стало ясно, почему студенты прозвали этого человека Троллейбусом. «Такое прозвище надо заработать», – подумал он. Это было прозвище мыслителя, человека, захваченного идеей.

Весь следующий день они писали докладную записку. Получалась, в общем, благополучная картина. Все бывшие представители формальной генетики, за исключением заведующего кафедрой генетики и селекции профессора Хейфеца Н. М., перестроились и на деле доказывают верность осознанным ими принципам передовой мичуринской науки, провозглашенным на августовской сессии академии. Профессор же Хейфец Н. М. занимает странную позицию, открыто заявляя о своем несогласии с основами мичуринской науки, и на занятиях со студентами, излагая им курс, допускает оговорки, из которых студенты должны сделать вывод, что курс неверен и навязан для преподавания принудительно. В докладную записку внесли и рекомендацию – укрепить кафедру двумя-тремя специалистами, доказавшими свою верность истинной науке.

– Касьян укрепит, – приговаривал Цвях, вписывая этот пункт. – Касьян, Федя, так укрепит, что... как он говорит, засмеешься на кутни...

– Это что же такое, Василий Степанович?

– Спрашиваешь, что такое? – нежным голосом отозвался Цвях, дописывая пункт. – С Касьяном общаешься и не знаешь! А это, Федя, вот что: заплачешь так, что будут видны все самые дальние зубы. Ты еще не плакал так? А между тем, попробуй, не запиши. Если он, дурак, сам в петлю лезет.

– А если записать помягче?

– Так этот же дурак узнает, что мягко записали, и напишет протест: ничего подобного, я в корне и решительно отвергаю вашу лженауку! Уж я-то повидал этих решительных морских свинок. Пусть все кругом летит к чертям, а риза моя все равно пребудет в ослепительной первозданной чистоте. С таким лучше не связываться. Никого надуть не даст.

Покончив с отчетом, перешли к докладу, читать который должен будет Цвях на общем собрании факультета. Василий Степанович разложил на койке и стульях стенограмму августовской сессии и журналы со статьями академиков Лысенко и Рядно и довольно ловко принялся монтировать общую часть. У него уже были заложены бумажками и даже пронумерованы самые энергичные места в речах участников сессии.

«Товарищи! – написал он в начале. – Как сказал наш академик-президент Трофим Денисович Лысенко, – история биологии – это арена идеологической борьбы. Два мира, – учит он, – это две идеологии в биологии. Столкновение материалистического и идеалистического мировоззрений в биологической науке имело место на протяжении всей истории. Особенно же резко эти направления определились в эпоху борьбы двух миров».

Переписав еще несколько сильных абзацев из доклада академика Лысенко, Цвях сказал:

– Смотри, что он говорит: «Новое действенное направление в биологии, вернее, новая, советская биология, агробиология встречена в штыки представителями реакционной зарубежной биологии, а также рядом ученых нашей страны». Чувствуешь, как он подводит базу? – и покачал головой. – А нам что остается? Приходится писать. Это же доклад!

И он застрочил, почти лежа грудью на листе и старательно выводя слова, завязывая на буквах "у" и "д" замысловатые бантики.

«Менделисты-морганисты, вслед за Вейсманом, утверждают, – написал он, – что в хромосомах существует некое особое наследственное вещество»...

Тут он остановился.

– Вот видишь, Лысенко против вещества. А в чем сидит наследственность, он не говорит! Видишь – обходит вопрос. Смотри: «Наследственность есть эффект концентрированных воздействий условий внешней среды»! А ты попробуй, возьми этот эффект в руки! Посмотри его в микроскоп! Я давно, Федя, над этим думаю. Знаний только мало. Приходится писать, что он пишет. А то бы я сразился...

Часам к двум ночи был готов и доклад. Укладываясь спать, Цвях никак не мог успокоиться.

– Что это он все «живое» да «неживое» говорит. Здесь никакой точности нет. Такие формулировки позволяют городить, что хочешь. Это философы так говорят. А естествоиспытатель... По-моему, если хочешь знать, между живым и неживым не может быть никакой границы. Идешь дорогой химии – пробирки там, реторты, идешь, и дорога еще не кончилась, глядь, а молекула уже шевелится...

Утром, попив чаю, они вышли на улицу. До трех часов дня, когда должно было начаться собрание факультета, оставалось еще много времени. Беседуя, они побрели парком, той тропой, что вела к полям, к мосту через овраг. Они были одинакового роста, и можно было подумать, что это беседуют отец, приехавший из провинции, и его просвещенный сын. Цвях неторопливо говорил и картинно «аргументировал» обеими руками, а Федор Иванович слушал, опустив голову, уронив на лоб русые пряди.

– Я все думаю, – между прочим сказал Василий Степанович, когда они уже шли полем. – Все, понимаешь, прикидываю, нужно ли тебе выступать. Я ведь кое-что вижу. Я вижу, что тебе

все это нелегко делать. С первого дня заметил. И понимаю тебя, Федя. Так, может, я один? Все равно, так и этак, мне на трибуну лезть, доклад на мне. А тебе-то зачем все это? Сиди себе в зале и слушай, как я буду им про живое и неживое вправлять. Мне все равно, у меня на плечах и без того грузу достаточно. На том свете большой предстоит мне разговор... Да и в науке. Я еще только чуть приоткрываю глаза, еще только сквозь щели что-то чуть брезжит. Может, так и не открою совсем, глаза-то. Опоздал. Потому и спрос с меня какой? А ты уже ученый, направление формируешь. Был бы я тебе отцом, я бы тебе сказал: не лезь. Не лезь, Федя...

– Спасибо, Василий Степанович.

– Вот и ладно, вот и хорошо. Так и уговорились.

Когда они подошли к мосту, Цвях вдруг остановился и, ударив кулаком в ладонь, тряхнув головой, сказал:

– Гуляй дальше сам. Пойду домой, полистаю доклад, материалы. Надо, Федя, ко всему быть готовым...

И быстренько заковылял назад. А Федор Иванович перешел по мосту овраг и зашагал по тротуару вдоль строя серых кирпичных домов, и перед ним возник прозрачный образ Елены Владимировны, состоящий только из тех ее особенностей, которые запали в его душу и незаметно, но постоянно напоминали о себе. Что за невиданный цветок вдруг расцвел в этом городе, что за судьба такая вдруг привела Федора Ивановича сюда, чтобы его увидеть!

Он шел и видел ее, читал слова, которые она писала движениями рук, полуповоротами и полупоклонами, пожатием плеч. И халатик ее серенький, узко перехваченный, с буквами «Е. В. Б.» на кармашке тоже возник перед ним. Рука Федора Ивановича нечаянно согнулась в кольцо, пальцы коснулись груди – да, так оно и получится, если...

Он прошел в арку – как раз под красным спасательным кругом – и обошел ее дом, стараясь угадать, где же ее окно. Потом через ту же арку он вернулся на улицу и с блуждающей улыбкой побрел дальше, ничего не замечая, пока не оказался на большой центральной площади. Здесь были сплошь старинные купеческие дома с колоннами, и только с одной стороны, из-за сквера с темно-бронзовой фигурой Ленина поднималось современное четырех – или пятиэтажное здание, состоящее из гранитных – до самой крыши – колонн и таких же высоких стеклянных плоскостей. Здесь помещались горком партии и горисполком. Подойдя поближе, Федор Иванович увидел в скверике длинный красный щит на постаменте, заключенный в раму бронзового цвета, окруженный фанерными красными знаменами. На нем висели десятка два больших фотографий – портреты ударников производства. Он прошел вдоль щита, рассматривая с невольным уважением лица этих знаменитых людей и читая фамилии. «Перхушкова Лидия Алексеевна, прядильщица, – читал он, – Туликов Иван Сергеевич, слесарь автобазы. Жуков Александр Александрович, сталевар...»

«Ага, – подумал Федор Иванович, – это он. Этого Саши Жукова отец».

Он постоял перед портретом, изучая усатое и бровастое, сердитое лицо, кепку и темные очки над козырьком.

«Сын тоже Александром назван. Семейная линия, – подумал он. – А сын взял и в биологи пошел. Кто-то его сманил туда. Кто? Не Троллейбус ли?»

И, слегка затуманившись, он побрел из сквера, свернул на длинный бульвар, с лавками под сенью лип. Он шел по бульвару, пока его не вывел из легкого тумана какой-то желтоватый блеск, возникший впереди.

Это был поэт в своем балахончике из золотистой чесучи. Он стоял посреди бульвара, неподалеку от пивного ларька и, подбоченясь, в позе трубящего Роланда, пил из бутылки пиво. Медлительно отпив несколько глотков, он уронил руку с бутылкой на выставленное брюхо и застыл, отдыхая. Потом, переведя дух и поразмыслив, он снова выпрямился, поднял бутылку и тут увидел Федора Ивановича. Одним пальцем руки, держащей бутылку, требовательно подзывал.

– Что тебе, Кеша?

– погоди, не видишь, я занят.

Федор Иванович невольно ухмыльнулся – он знал эту манеру Кондакова.

Допив, поэт поставил бутылку на скамью, вытер двумя пальцами бороду и усы, взял Федора Ивановича под руку и, дыша в лицо пивом, сказал:

– Вот, послушай. Новое.

Дымчатым бабьим голосом, подвывая, он начал читать:

Три с гривою да пять рогатых,
В овине сохнет урожай.
За этот сказочный достаток
Отца сослали за Можай.

А ты, его сынок-надежа,
Проклятье шлешь отцу вдогон,
Родную сбрасываешь кожу,
За новью пыжишься бегом.

Был Бревешков, а стал Красновым,
Был Прохором, теперь ты – Ким.
И спряталась твоя основа
За оформлением таким, —

Чтоб мы и думать не посмели,
Что ты – новейший мироед,
Когда увидим в личном деле
Краснова глянцевого портрет.

– Ну, как? Чувствуешь, что это за вещь?

– Чувствую. Серьезная вещь...

– Да? – Кондаков недоверчиво посмотрел на Федора Ивановича.

– Да, Кеша. Вещь хорошая и серьезная. Ты реагирующий мужик.

– Ты находишь? – сказал поэт польщенно. – Ну, пойдем, пройдемся. Скажи еще что-нибудь.

– Зачем у нашей старухи сундучок спер? Хоть бы пятерку ей.

Кондаков остановился, как будто в него выстрелили дробью. Потом опомнился, его рожа, окаймленная рыжеватыми с проседью лепестками, расплылась.

– Фу, напугал... Разве это ее? Она видела?

– А как же. Ходит и костит твое честное имя...

– Что же ты не остановил? На, дай ей два рубля. И от себя еще добавь. Скажи, чтоб перестала.

– Барахло ходишь по улицам собираешь...

– Барахло? Знаешь, какое это барахло? Этот сундучок у ней весь внутри оклеен газетами. Тридцатый год. И там объявления, Федя... Какие объявления! Слышишь? «Порываю связь с отцом как кулацким элементом». «Рву все отношения с родителями, сеющими религиозный дурман в сознание трудящихся». «Меняю фамилию и имя». И берут имена: Октябрь, Май, Ким, Револа... Так и повеяло, знаешь. Ночь не спал.

– Покажешь?

– Его уже нет. Одному человеку отдал.

– Жаль...

– Просил человек. У него там кто-то оказался. Из своих. Ты бы разве не отдал?

– По-моему, ты правильно отразил суть... Может, и правда, кто-нибудь делал это в экстазе. Потому что в этих отречениях от родителей есть что-то. Какой-то обряд. Люди более развитые, образованные спросили бы – а к чему эти жертвы вообще?

– погоди, Федя. погоди, запишу... – у поэта в руках уже были ручка и пачка сигарет. – Давай, давай...

– К чему, говорю, эти обряды делу революции? Родители – они ведь сами по себе. Раньше, например, полагалось носить крест. Тут есть, Кеша, что-то от человеческого жертвоприношения... Не каждый из этих был в исступлении... Не все пылали, ты прав. Иные трезво предавали, чтоб спасти себя, а иные – чтоб и взлететь...

– Ты думаешь? Ну, ну. Продолжай...

Федор Иванович с грустью посмотрел на его исписанную сигаретную пачку.

– Такая публикация не есть доказательство революционного образа мыслей. Наоборот! Этим утверждается: думай, что хочешь, но только про себя. Сделай эту подлость и обрежешь концы. Газета пойдет в архив под надежный замок, ключ – в надежных руках – и весь твой век тебе будет уже не до старомодных кулацких настроений. Вот если сейчас кто-нибудь из них жив и ему показать сундучок с газетой, умело показать... Так иной, пожалуй, и в петлю полезет...

– Продолжай! Почему ты не пишешь стихов!

– Да, Кеша... Кто требует предать родного отца, – не рассчитывай на чью-нибудь верность.

– Говори, говори...

– Нет. Больше говорить об этом не хочется.

– Ну еще немного. Пойдем ко мне, накормлю тебя хорошим завтраком. Мясо! Мясо, Федя! Мясо и лук! Вот тут, совсем рядом. Вон он, дом. Видишь, спасательный круг? Говори еще...

– Исчерпался, – Федор Иванович с интересом посмотрел на него. – Ну ладно, завтракать так завтракать. Пошли.

Иннокентий Кондаков отпер плоским ключом шикарную дверь на четвертом этаже, обитую стеганой черной искусственной кожей, сияющую бронзовыми кнопками. Они вошли в темную каморку. Здесь, как в харчевне, сильно пахло недавно жарившимся мясом. Кондаков включил свет и сейчас же начал раздеваться.

Балахончик, сорочку и чесучовые брюки он повесил в стенной шкаф, туда же поставил алюминиевые туфли на женских каблуках. Из шкафа грубо выволок махровый малиновый халат и, накинув, завязав под животом пояс с кистями, предстал – золотисто-волосатый, с вылезшим из халата напряженным пузом. В золотой чаше нагло зиял воронкообразный пуп.

– Красавец! – воскликнул Федор Иванович. – Гольбейн!

– Что это такое, Федя?

– Художник был. Короля английского нарисовал, похожего на тебя.

– Спасибо, дорогой.

– Этот король переменил шесть жен.

– Да ну! Это точно – я. Спасибо, удружил. Пойдем на кухню.

Как только они вошли туда, множество тараканов кругами забегало по полу и по стенам, и через мгновение все куда-то скрылись. Поэт достал из духовки лоснящуюся сковороду с четырьмя кусками мяса, сидящими в высокой подстилке из жареного лука. Понюхал и подмигнул. Каждый кусок был величиной с большой мужской кулак.

– Это ты все для себя? – изумился Федор Иванович.

– Мне надо есть мясо. Вечером ко мне придет дама.

– Серьезно относишься к делу...

Поэт кончил любоваться своей сковородкой.

– Подогреем? – спросил, сверкнув сумасшедшими светлыми глазами. И ответил: – Подогреем-с!

Пыхнул огонь в духовке, Кондаков задвинул туда сковороду. Федор Иванович в это время рассматривал приклеенное над столом цветное фото обнаженной женщины, вырезанное из иностранного журнала.

Поэт дернул гостя за рукав. Они прошли маленькую переднюю и комнату с плотно завешенным окном, в которой на столе среди высохших винных луж стояла лампа без абажура, на полу темнели десятка полтора бутылок, а на стенах висели афиши с крупными буквами: «Иннокентий Кондаков». В другой комнате была видна низкая старинная кровать – квадратный дубовый ящик с темными спинками, на которых поблескивали вырезанные тела длинноволосых волооких дев, летающих среди роз и жар-птиц. Две несвежие подушки, огромное стеганое одеяло, простыни – все стояло комом. Поэт снял закрывающий окно лист фанеры, потянув за шнур, впустил дневной свет, и стали видны грязный паркет, пыль и окурки по углам, грязные разводы и надписи на стенах. «Дурачок!» – было написано на самом видном месте губной помадой. И в этой комнате висели афиши с той же крупно напечатанной фамилией и несколько фотографий – везде поэт Кондаков, освещенный с трех сторон, в раздумье или в дружеском оскале.

– Здесь я вдохновляюсь, – сказал он, указывая на свое ложе.

– Вижу, вижу. Тебя навещают... – заметил Федор Иванович. – Небось, увидят обстановочку и сейчас же наутек.

– Ты не знаешь женщин, Федя. Они, как увидят это, прямо звереют. Женщину надо знать. Окинет взглядом все это – тараканов, бутылки, грязь – сначала начинает дико хохотать. Потом бросится на меня с кулачками – колотить. И, наконец, обессилев, падает... вот сюда, – он оскалился. – Одна ко мне ходит, ты бы посмотрел. Такая, брат, тихоня, такой младенец, такая тонкость, куда там! А наступает миг – сатана!

– Хвастун! – сказал Федор Иванович, все еще оглядывая комнату. Его жизнь шла другими дорогами, таких людей и такой обстановки он не видел.

– Пошли! – приняв, поэт вдруг бросился в кухню.

Федор Иванович уселся за стол, Иннокентий поставил на какую-то книгу горячую сковороду, дал гостю грязную вилку и измазанный в жире нож с расколотой деревянной ручкой.

– Вот тебе хлеб, – он положил на стол два остроконечных батона, – вот заправка, все вино выпили вчера, – выставил две бутылки молока. – Не отставай! – И, разрезав на сковороде один кусок, сунул в пасть первую порцию.

– Погоди, надо же вилки помыть! И стол...

– Можешь и пол помыть. Разрешаю, – мотнув головой наотмашь, поэт зубами оторвал часть батона, отправил в рот вторую порцию мяса и подал вслед хороший ком лука.

Вымыв вилку и нож, Федор Иванович принялся разрабатывать свой сектор сковороды.

– Чего молчишь? Зря тебя кормлю? – пробормотал поэт, жуя.

Но гостю было не до речей. Рядом со сковородой из щели между столом и стеной вылезли, ощупывая воздух, чьи-то чудовищные усы. Федор Иванович замахнулся, хотел пугнуть разведчика, но Иннокентий остановил его.

– Не трогай, это Ксаверий.

Обмакнув кусочек батона в жир, он положил его около шевелившихся усов. Сейчас же Ксаверий вылез и уткнулся в хлеб. Это был черный таракан длиной в спичечный коробок.

– Видишь, жрет. Мы с ним давно знакомы. У нас совпадают взгляды на многие вещи.

Из щели выбежал таракан поменьше и сунулся к хлебу. Ксаверий махнул пятой или шестой ногой, таракан опрокинулся вверх брюхом и замер, прикинувшись мертвым. Потом мгновенно перевернулся и исчез в щели.

– Борются за власть, – весело осклабился Иннокентий, обмакивая в жир второй кусочек батона. – На, ешь, дурачок, – он подложил кусочек к самой щели. – Люблю за храбрость!

Отпив из бутылки несколько глотков, он принялся разрезать второй кусок. Первого уже не было.

– Нравится тебе эта девочка? – спросил Кондаков, жуя, и глядя на фото над столом.

– Н-не могу сказать. Она снимается голая и не краснеет, не прячет лица. Нормальная женщина в такой ситуации сгорит от стыда. Как мне кажется, Кеша, без любви нельзя бросить на наготу даже косой взгляд. Любящему можно. Любовь очищает взгляд...

– Ка-ак ты сказал? Постой, запишу... Да-а... А почему эта не стораает? Смотрит прямо в глаза...

– Это бесстыдница. Она ведь за деньги... И у нее, конечно, есть маскировочное рассуждение. Но это не меняет дела.

– А стыд нагого мужчины?

– Только перед женщиной. В этом стыде есть береженье ее стыдливости.

– А в рай? Оба ведь были голые...

– Что рай, что любовь, Кеша...

– Как, как ты говоришь? Повтори... Давай еще кусок разделим пополам. И батона ты почти не ел!

– Мне хватит, я уже готов.

– Ну, как знаешь. Получается три – один в мою пользу. А как ты смотришь на такое мое наблюдение. Ты правильно говоришь, ко мне ходят... Я заметил, что это дело любит накат. Бросать на полдороге нельзя. Надо запирается с нею на неделю. И чтоб мешок с продуктами висел на балконе и был полон. Эта, о которой говорил, к сожалению, так не может. Поэтому и наблюдение мое, о котором скажу сейчас, на ней проверить не смог. Сегодня придет. Я хочу сказать тебе вот о чем. Это же черт знает что – чем определяется этот недельный срок! Не пойму! Входим сюда нежными влюбленными, а выходим, глядя в разные стороны. Ненавидим, чуть не деремся. Получается, что все – в голоде или в сытости тела. Я сыт – и сейчас же лезут мысли: зачем я с нею связался, с этой дурой? Какого черта привел ее да еще на неделю! Теряю время! И что в ней нашел хорошего? Нос – как будто перочинным ножом остроган, с трех сторон. Тьфу! Словом, разлука без печали. А проходит еще неделя – и я начинаю ее искать. А она ищет меня. И она теперь для меня – необыкновенное существо. Откуда красноречие, откуда стихи! Искры из меня так и сыплются. Красавица! Богиня! Ангел! Этот вот объект, Федя, очень удобен для наблюдений над самим собой. Я давно замечаю – у человека все так: что к его пользе – все правильно. А что ко вреду или к доуке, что мешает – неправильно. И сразу появляются убедительные аргументы. Для самого себя. Ты не замечал?

– Я что-то похожее наблюдал. Только не на этих... объектах. – Федор Иванович замялся, подыскивая слова. – Понимаешь, ты сейчас мне привел еще одно доказательство. Что чувство правоты не всегда совпадает с истинным положением вещей. Что оно часто совпадает с чувством ожидания пользы... Для самого себя. Кто владеет собой, Кеша, в таком тонком деле, тот мудрец.

– Спасибо, Федя. Пей молоко.

– Я вовсе не о тебе. Насчет того, владеешь ли ты, у меня данных нет.

Все было съедено и выпито. Кондаков заметно отяжелел, умолк и нахмурился. В молчании они вышли из кухни в переднюю. Федор Иванович повернул было в комнату, но поэт молча стал у него на пути, почесывая голую волосатую грудь. Помолчав и еще больше потемнев лицом, он сказал, наконец:

– Ну ладно, иди, Федя. Иди, мне надо отдохнуть.
И даже подтолкнул его к двери.

V

В два часа Федор Иванович достал из шкафа своего «сэра Пэрси» – любимый спортивный пиджачок с накладными карманами. Пиджачок был цвета обжигающего овощного рагу с хорошо поджаренным лучком, прожилками помидоров и частыми крапинками молотого перца. Надев мелкокрапчатую сорочку с коричнево-красным галстуком и «сэра Пэрси», Федор Иванович сразу стал похож на самоуверенного боксера в полусреднем весе. Остроносое лицо его с вертикальной чертой в нижней части и глубокой, кривой, как запятая, ямкой на подбородке приобрело жесткое выражение – он шел на поле боя, хотя уверенности сейчас было в нем значительно меньше, чем три дня назад.

Приготовился и Цвях – он уже успел выгладить свой темный, командировочный костюм и теперь, облачившись, затянув галстук и причесавшись на пробор, стал похож на седого крестьянина, собравшегося в церковь.

Они вышли торжественной парой из дома и по единственной улице институтского городка двинулись к некоей отдаленной точке. Справа и слева от них из разных концов городка шли люди – все к этой точке. Там, в розовом трехэтажном корпусе, был актовый зал.

– Касьян сегодня звонил, – проговорил Цвях. – Что-то напели ему. Что – не говорит, но слышно было – недоволен. Прошляпили, говорит. А что прошляпили, так я и не разобрал.

Федор Иванович не сказал ничего, только выразительно чуть повернул голову.

– Смотри-ка, сколько народу валит. Со всех трех факультетов, – проговорил Цвях после долгого молчания.

И еще сказал, когда прошли половину пути:

– У зоологов дней двадцать назад нашли дроздофилиста. Поскорей выгнали, и теперь у них тишина...

Когда по длинному коридору подошли к входу в зал, Цвях остановился.

– Ну, давай. Я иду в президиум.

Федор Иванович вошел в гудящий зал. Почти все места были заняты, но он все же нашел кресло в двадцатых рядах и, усевшись, стал наблюдать. Прежде всего, он увидел над пустой сценой красное полотнище с знакомой ему надписью белыми буквами: «Наша агробиологическая наука, развитая в трудах Тимирязева, Мичурина, Вильямса и Лысенко, является самой передовой сельскохозяйственной наукой в мире!». Он не раз слышал эти слова на августовской сессии. Потом он увидел впереди – рядов через десять – белую шею Елены Владимировны, чуть прикрытую сверху лапотком, сплетенным из ее темных, почти черных кос. Рядом с нею вихрастый Стригалева в своем красном свитере что-то говорил, опустив голову. Справа, слева и сзади Федора Ивановича сидели незнакомые люди, все возбужденные, все были знакомы друг с другом, и все, блестя глазами, что-то говорили.

– Массовые психозы хорошо удаются, когда они кому-нибудь выгодны, – сказал сзади старик спокойным металлическим басом. – И я просматриваю за такими психозами не «шахсей-вахсей», а личную выгоду участников. Хотя, да, есть, есть толпа и есть в ней старушки... Подносящие вязанку хвороста в костер, где сжигают еретика.

– Нет, все-таки есть движение, – чуть слышно возразил еще более дряхлый – клиросный – тенор. – После того как прочитаешь про римские казни, на которые посмотреть стекались тысячи... И даже матроны с грудными детьми. Да... Окна покупали, чтобы посмотреть... Украшали первый день карнавала казнью, и толпа одобряла это своим присутствием... После всего этого мы сделали прогресс. Полезно прочитать...

– Особенно перед таким собранием... Вы уверены, что здесь никто не купил бы окно?

И тут Федор Иванович увидел прямо впереди себя Вонлярлярского. Он был очень взволнован, все время запуская палец за воротничок, и лысоватая, мокро причесанная голова его

вертелась, как жилистый кулак в манжете. Федор Иванович хотел поздороваться с его бело-розовым затылком, по которому – от уха – шел пробор, но в это время на сцене началось шествие членов президиума. Один за другим они показывались из-за серого полотнища и, медленно поворачиваясь тяжелыми корпусами вправо и влево, растянутой цепью протекли за стол. Декан, ректор, еще два декана, еще несколько сановитых полных мужчин, женщина... И Цвях был среди них – так же медленно поворачиваясь, просеменил, уселся и как бы опустил лоб на глаза. Потом по сцене легко прошагал академик Посошков, мгновенно оказался на председательском месте – прямой, изящный, в черном костюме с малиново-перламутровой бабочкой, сильно его молодившей. Запел графин под его массивным обручальным кольцом, академик выразительно молчал, требуя внимания.

– Товарищи! – провозгласил он. – Мы все, деятели многочисленных ветвей советской биологической науки, празднуем в эти дни выдающуюся победу мичуринского направления, возглавляемого Трофимом Денисовичем Лысенко, победу над реакционно-идеалистическим направлением, основателями которого являются реакционеры – Мендель, Морган, Вейсман. Многим из нас эта победа далась нелегко. Годами господствующие заблуждения врастают в душу, освобождение от них не обходится без тяжелых ран...

– Знаем, знаем, – сказал басистый старик сзади Федора Ивановича. – Хватит красиво каяться...

Произнеся еще несколько торжественных фраз и выбрав еще раз вейсманистов-морганистов, академик открыл собрание и предоставил слово для доклада ректору Петру Леонидовичу Варичеву. Тот поднялся и понес тяжелый живот к трибуне.

– Кашалот, – пробасил сзади старик, как будто легко трогал самую низкую струну контрабаса. – Когда только получил пост, был как Керубино. А сегодня встретил у входа – что за физиономия! Как кормовая свекла!..

– Пиво и закуски уведут его на тот свет, – прошелестел второй старик.

– А вы видели Кафтанова? Вот у кого геометрия! Изодиаметрическая фигура!

– Наш туда же, хе-хе. По его стопам...

Ректор показался над трибуной, разложил бумаги.

– Товарищи! – глуховатым голосом начал он, глядя в текст. – История биологии – это арена идеологической борьбы. Это слова нашего выдающегося президента Трофима Денисовича Лысенко. Два мира – это две идеологии в биологии. На протяжении всей истории биологической науки сталкивались на этом поле материалистическое и идеалистическое мировоззрения...

Федор Иванович радостно поднял брови: похоже, что ректор составлял свой доклад таким же методом, как и они с Цвяхом. И по тем же источникам.

Василий Степанович в президиуме оторопело смотрел на докладчика, тер затылок.

– Неспроста новая советская биология была встречена в штыки представителями реакционной зарубежной науки, – читал Варичев, упираясь обеими руками в трибуну. – А также и рядом ученых в нашей стране...

В президиуме Цвях быстро листал свой доклад и решительными движениями поспешно вычеркивал что-то.

– Менделисты-морганисты вслед за Вейсманом утверждают, – набрав скорость, читал Варичев, – что в хромосомах существует некое особое «наследственное вещество». Мы же вслед за нашими выдающимися лидерами академиком Лысенко и академиком Рядно утверждаем, что наследственность есть эффект концентрированного воздействия условий внешней среды...

И потек знакомый всем доклад, который в разных вариантах все уже читали в газетах и слушали по радио. В зале начал нарастать легкий шумок, везде затеплились беседы. Но они

сразу смолкли, когда в голосе докладчика появилась особая угроза, и стало ясно, что он переходит к домашним делам.

– ...И даже в нашем институте нашлись, с позволения сказать, ученые, избравшие ареной борьбы против научной истины девственное сознание советских студентов. Я не буду называть здесь тех, кто нашел в себе мужество и вовремя порвал со своими многолетними заблуждениями, – здесь докладчик все же взглянул в сторону президиума. – Поможем им залечивать их раны...

Веселый шум пролетел по залу. «Кто же это смеется?» – подумал Федор Иванович, оглядываясь. Все вокруг улыбались, один лишь Вонлярлярский нервно подергивался и крутил головой.

– Изгоняя из нашей науки менделизм-морганизм-вейсманизм, – повысил голос Варичев, – мы тем самым изгоняем случайности из биологической науки. Наука – враг случайностей. Нам не по пути с теми, кто, используя ядовитый колхицин, устраивает гадания на кофейной гуще, плодя уродцев и возлагая на них несбыточные надежды. Мы без сожаления расстались уже с двумя такими гадателями, и это, по-видимому, не все. Профессор Хейфец, я обращаюсь персонально к вам. До сих пор мы только терпеливо слушали ваши поношения в адрес советской науки и были либеральными свидетелями ваших фарисейских заигрываний с нашей сменой – студентами и аспирантами. Вы и ваши скрытые коллеги должны, наконец, понять, что наступает предел и этому терпению, и этому либерализму. Выбирайте сами, что вам по душе – присоединиться к победоносному шествию советских ученых, возглавляемому нашими маститыми знаменосцами, и вместе с нами творить будущее или же, будучи отброшенными на задворки истории, оказаться на свалке вместе с такими приятными соседями, как Мендель, Морган и Вейсман.

Вспыхнули резкие, как стрельба, аплодисменты, стали громче, плотнее. Когда зал утих, Варичев выкрикнул здравицу в честь самой передовой агробιологической науки, развитой в трудах Мичурина, Вильямса, Лысенко. Овация вспыхнула с новой силой, и он, собрав свои бумаги, покинул трибуну.

Следующим оратором был Цвях. Он пространно расхвалил доклад ректора, его чеканные формулировки.

– Богатство новых мыслей, высказанных на сессии академии, побуждает и многие годы будет побуждать нас обращаться к стенограмме сессии как к руководящему документу, – заявил он. – В такие исторические дни два добросовестно подготовленных доклада, посвященные одному и тому же вопросу, обязательно окажутся во многом схожими. Общий источник порождает сходство формулировок. Поэтому я опускаю вступительную часть моего содоклада, поскольку она почти дословно повторяет, к моему... я даже не скажу сожалению...

Общий смех зала покрыл эти слова. И сам Цвях улыбнулся плутовато, налег на трибуну, поглядывая в зал, выжидая. Потом поднял руку, мгновенно успокоил всех и, став строгим, начал читать знакомый Федору Ивановичу текст с обстоятельным анализом учебной и научной работы факультета и проблемной лаборатории. Уклон был отчетливо выражен – комиссия настойчиво обращала внимание всех профессоров и преподавателей на замеченные то тут, то там следы пережитой недавно вейсманистско-морганистской болезни, рекомендовала изжить эти остатки в ближайшее время. Все же комиссия вынуждена была отметить воинственную позицию профессора Хейфеца, его открытое неприятие курса, провозглашенного сессией.

– Хотя еще не решен вопрос, что лучше – открытая позиция неприятия или замаскированная ложная перестройка, – сказал Цвях многозначительно. – Маска всегда была и остается тактическим приемом и в то же время верным знаком продуманного и закоренелого упорства со стороны всякой антинаучности...

Эти слова его потонули в страшном грохоте аплодисментов.

– Открытость неприятия и прямого, – продолжал Цвях, выждав паузу, – встречаются в обиходе честных ученых и позволяют еще надеяться, что человек способен честно предпринять... приложить... – фраза оказалась слишком сложной, ее в тексте не было, и Цвях запутался. – Приложить усилия, направленные на осознание... Изжитие ошибки, и я уверен, что найдутся среди нас... что есть много доброжелательных и талантливых ученых, которые смогут... путем творческого обмена... помочь осознать...

«Он хочет протянуть ему руку...» – подумал Федор Иванович.

Когда председатель комиссии покинул трибуну, в зале поднялся шум – ожили все бесчисленные группы собеседников. Академик Посошков долго звонил своим золотым кольцом по графину и вдруг произнес:

– Товарищ Ходеряхин!

На трибуне показался знакомый Федору Ивановичу человек с бледно-желтоватым лицом и черными печально горящими глазами. Разложив свои бумаги, он начал читать, как показало Федору Ивановичу, ту свою статью из журнала, по поводу которой у них в учхозе был неприятный разговор.

– Эту работу, – закончил он, – смотрел Кассиан Дамианович. И одобрил.

Ходеряхин знал, что московский ревизор сидит в зале, и отвечал ему.

– Я тут читал Шопенгаура... Шопенгауэра, – продолжал он, запустив желтые пальцы в черные волосы и откинув их назад. По залу прокатилась веселая волна. – Критически, критически читал, – поправился он.

Зал так и грохнул. Послышались хлопки. Председатель коснулся кольцом графина.

– У этого реакционного философа есть в одном месте... – продолжал Ходеряхин. – По моему, подходяще. Кто хорошо мыслит, хорошо и излагает. Это его слова. Я думаю, что мы можем и так сказать: кто темно излагает, тот темно и мыслит. И еще он говорит: непонятное сродни неосмысленному. Я к чему это? Сидел я как-то среди них. Среди вейсманистов-морганистов. Нет, не в качестве разделяющего, уж тут можете не сомневаться – в качестве любопытствующего и ничего не понимающего. По-моему, они сами не все понимают, что говорят. Кроссинговер... Реципрокность... Аллель... Так и сыплют. Я думаю, ясная мысль нашла бы для своего выхода попроще слова. Вот академик Кассиан Дамианович Рядно. Когда говорит – все ясно. И подтверждение – не таблица, не муха без крыльев, а матушка-картошка! «Майский цветок»! Как Чапаев – на картошке доказывает! Или наша Анна Богумиловна – на семинарах говорит просто, ясно, любо послушать. И пшеничку кладет на стол, скоро сдаст в сортоиспытание... Тут я, товарищи, позволю себе еще одну цитатку...

– Опять реакционная философия? – весело спросил из президиума Варичев.

– Петр Леонидович, вы угадали. Она. Но мы это оружие повернем против самих реакционеров. Вот, что он пишет, Шопенгауэр: «Если умственные произведения высшего рода большей частью получают признание только перед судом потомства, – это он говорит, философ, – то совершенно обратный жребий уготован некоторым известным блистательным заблуждениям, которые... Которые появляются во всеоружии с виду таких солидных доводов и отстаиваются с таким умением и знанием, что приобретают славу и значение у современников...» – Ходеряхин поднял палец. – Таковы некоторые ложные теории... ошибочные приговоры... опровержения... При этом не следует приходить ни в азарт, ни в уныние, но помнить! – он еще выше воздел палец. – Что люди отстанут от этого и нуждаются только во времени и опыте, чтобы собственными средствами распознать то, что острый глаз видит с первого раза...

Ходеряхин почувствовал подозрительную тишину в зале и остановился. Посмотрев на президиум, где Варичев, как-то странно развесив губы, барабанил пальцами по столу, он отложил целую страницу в своей длинной цитате и закончил:

– Вот так, товарищи! Еще такое он говорит: в худшем случае ложное распространяется... как в теории, так и в практике... и обольщение и обман, сделавшись дерзкими вследствие

успеха, заходят так далеко, что почти неизбежно наступает разоблачение. Нелепость растет все выше и выше, пока, наконец, не примет таких размеров, что ее распознает самый близорукий глаз...

Тут оратора прервали чьи-то бешеные хлопки в углу первого ряда.

– Браво, браво, товарищ Ходеряхин! – пискляво выкрикнул кто-то.

Федор Иванович привстал. Аплодировал Ходеряхину покрасневший от натуги профессор Хейфец. Вонярялярский с ужасом смотрел в его сторону.

– Как говорит мой внук, один – ноль! – сквозь растущий шум прозвенел бас сзади. – Один – ноль в пользу Менделя!

– Товарищи болельщики! Вы не на футболе, – вмешался сзади же запальчивый голос.

Графин непрерывно звенел. Когда страсти улеглись, послышался голос академика Посошкова:

– Товарищ Хейфец! Натан Михайлович! Пожалуйста, к порядку... Товарищ Ходеряхин! По-моему, достаточно философии. Мы все восхищены...

– У меня все, – сказал Ходеряхин и с грустной улыбкой сошел со сцены, и, прежде чем сесть на свое место в первом ряду, пожал руки нескольким друзьям, словно принимая поздравления.

– Да, товарищи, да! Давайте не отвлекаться от главного! – раздался со всех сторон из динамиков зычный женский голос. На трибуне плавала и колыхалась Анна Богумиловна Побияхо, колыхались все ее подбородки, наплывающие на объемистую грудь, прыгали на груди красные бусы. – Давайте вернемся в русло, проложенное для нас исторической сессией. Известно, что менделисты-морганисты отрицают влияние условий выращивания на изменение сортовых качеств. Мутагены, колхицин, рентгеновские лучи, то, что уродует организмы, – вот их арсенал. В противовес этому ложному и вредному для производства методу Трофим Денисович, Касснан Дамианович разработали диаметрально противоположный принцип и показали на практике его действенность. Лично я в своей многолетней работе...

Она развернула тетрадку и стала читать подробный доклад о переделке пшениц – озимых в яровые и яровых в озимые. Как бы засыпающий ее голос постепенно стал тонуть в общем слитном шуме.

– Ф-фу, – жара, – простонал кто-то. – Хоть бы окна открыли.

Федор Иванович оглядел зал и вдруг увидел впереди слева молодую женщину со знакомыми белыми, как сосновая лоска, волосами, с толстыми косами, которые на этот раз были соединены на затылке в пухлый калач. Женщина застыла, низко потупившись, и шум зала, как начинающаяся метель, словно засыпал ее снегом. Пристально поглядев на нее, Федор Иванович перевел взгляд на академика Посошкова, – тот сидел в президиуме около графина – тоже с опущенной головой. Сегодня он почему-то померк, стал бесцветным – таким академика Федор Иванович еще не видел...

– Именно поэтому, – вдруг отчетливее и громче загрохотал в динамиках голос Побияхо, – именно поэтому я не могу не высказать здесь своего удивления по поводу позиции, занятой Натаном Михайловичем. Мне непонятна его подчеркнутая оппозиция по отношению к нам, его коллегам, к советской науке, непонятна его поза и действия, напоминающие действия известного крыловского персонажа по отношению к питающему его дубу...

Федор Иванович потемнел лицом, нахмурился – он болезненно переживал всякую бестактность. Еще тяжелее ударил его гром аплодисментов – как будто несколько поездов пронеслись над ним по железной эстакаде. Он опустил голову и уже не слышал окончания речи. Зазвенел графин.

– Натан Михайлович Хейфец! – объявил председатель.

И сразу зал затих. Профессор Хейфец, бледный, с белыми, как сияние, волосами, в длинной болотного цвета кофте домашней вязки, слегка согнувшись, спешил к сцене – головой впе-

ред. Суетясь, он взошел на трибуну и цепко охватил ее края беспокойными пальцами. Долго молчал, приходил в исступление.

– Ругаете! – крикнул внезапно, и голос его будто поскользнулся и упал. – За что? Разве не у вас всех на глазах я с утра до ночи пропадаю – то в лаборатории, то в библиотеке, то на кафедре? Разве вы не видите, что для меня ничто не существует, кроме любимой науки и истины?

– Демагогия! – крикнул кто-то по соседству с Вонлярлярским. Тот так и шарахнулся в сторону.

– Вас, как вы выразились, ругают за идеализм, – послышался улыбающийся голос Варичева. – За то, что вы романтик-идеалист и не хотите прислушаться к голосу общественности.

– Ничего подобного! Я не романтик и самый строгий материалист. У меня все – расчет, достоверность. Поддержать в руках, увидеть в микроскоп, проверить химическим реактивом. А вот вы – идеалисты и романтики. У вас все – завтра. Ничего в руках у вас не поддержишь. Вы против вещества – против вещества!!! И гордо заявляете об этом. Подумать только – коммунисты и против вещества! У вас в природе происходит непорочное зачатие. По-вашему, если перед овцой я, как библейский Иаков, положу пестрый предмет, она родит пестрых ягнят... Почему я хлопал Ходеряхину? Вы, Петр Леонидович, сохраните на двадцать лет текст вашего сегодняшнего выступления. Сохраните. Через двадцать лет мы вам напомним! Увидите, как меняются точки зрения по мере накопления людьми опыта и знаний. Вдумайтесь – вы все говорите о передаче по наследству благоприобретенных качеств. То, что говорил Ламарк. Но клетка ведь не может сама себе заказывать свои изменения. Химия и физика это доказали намертво. Вы подождите шуметь, вы сначала постигните это – на это нужно время...

– А вы знакомы со статьей в «Сайенсе»? – опять вмешался голос Варичева. – Там Джеффри высказал обоснованное сомнение в правоте хромосомной теории...

– Читал я, читал эту статью. Да, там высказано. Не доказательство, но обоснованное сомнение. Но ведь познание – бесконечно! Настоящая наука не претендует – как претендуете вы! – на стопроцентное конечное знание! И поэтому публикует все новое, что найдет, в том числе и свои сомнения. Мы не боимся тех, кто только и ждет, чтобы ударить в подставленный нами бок. У ищущих истину ударять в подставленный бок не принято. А кто бьет – не ищет истины. Ну и что!

Может быть, и в плазме есть структуры, связанные с наследственностью. Может быть, откроем! Но то, что уже твердо установлено, – от этого мы не откажемся никогда! Сколько бы ни сыпалось брани! Хотя, я понимаю, сегодня мы не найдем правды до самой Камчатки...

– Товарищ Хейфец, – сказал Варичев. – Не то говорите. Признать вас правым будет неправота. И такой неправоты, это верно, вам не найти, до самой Камчатки.

Одобрительные аплодисменты стайкой пролетели по залу.

– Но выступление свое вы все-таки сохраните, – сказал Хейфец. – А сейчас я хочу вернуть Анне Богумиловне ее художественный образ, позаимствованный ею у дедушки Крылова. Сначала – анекдот из жизни. Достоверный. Сидят вместе два наших мичуринца. Один говорит: «Что делать?» Другой: «А что?» Первый: «У Стригалева на двух растениях ягоды завязались». Второй: «Вот сволочь!»

Зал вздохнул и весело загудел. Послышались редкие хлопки.

– А теперь к делу, Анна Богумиловна! Мне помнится, лет десять назад, перед войной вы ездили в Москву с моей запиской в известный вам институт. Отвезли мешочек семян пшеницы. И вам эти семена там облучили. Гамма-лучами. В институте это зарегистрировано. Еще, помню, вы сказали: «Чем черт не шутит». Вы высеяли облученные семена в учхозе, и выросло много всяких, как вы говорите, уродцев. Но два растения вы сразу заприметили, вы все же селекционер. И вот из них-то и пошли те сорта, которыми сегодня вы по праву гордитесь. Мы с цитологами следили за судьбой этих растений, такое настоящий ученый никогда не упу-

стит. Вместе со Стефаном Игнатьевичем смотрели в микроскоп. Но дуб, который дал вам эти желуди, подрывать, Анна Богумиловна, не годится. Это недостойно...

Голова Вонлярлярского еще страшнее завертелась, как только он услышал слова «вместе со Стефаном Игнатьевичем». А руки сами по себе стали ощупывать костюм, он достал блокнот и судорожно принялся писать в нем. Потом оторвал листок и передал кому-то впереди себя. И белая бумажка, прыгая из ряда в ряд, побежала в президиум.

– ...В науке должна быть уверенность в избранном пути, – тем временем завершил длинную назидательную реплику Варичев.

– Очень торжественно говорите! – возразил Хейфец. – А ведь Колумб не Америку открывать собирался, а Индию. Был уверен в избранном пути. А попал в Америку! А вы говорите, уверенность. Настоящий ученый, если будет заранее знать ответ, не станет и заниматься этим делом! Какая может быть уверенность, если исследуется белое пятно! Простите, ваши слова отражают не научное мышление, а бытовое. Здесь не уверенность, а пытливость нужна! И честность! И устойчивое добродушие! Вы получили аргумент – извольте его обработать, если вы ученый. А не топать. А в общем, все это пустое, – махнув рукой, Хейфец сошел с трибуны и так же, головой вперед, ни на кого не глядя, прошел на свое место.

Наступила пауза. В президиуме читали бумажку Вонлярлярского. Наклонялись друг к другу, шептались. Потом академик Посошков встал.

– Товарищ Вонлярлярский! Стефан Игнатьевич, пожалуйста!

Выбравшись из ряда, Вонлярлярский пошел по проходу решительным шагом, опустив одно плечо и отмахивая одной рукой. Взойдя на трибуну, он пошатнулся, круто повернул голову к президиуму.

– Товарищи! Да, я – упомянутый здесь цитолог. Но по характеру работы это более к морфологии... Не русло, а берег потока. Если кто-нибудь рассчитывал, что я, будучи вот так, за шиворот втянут... рассчитывал на невольную поддержку... Или что я, в худшем случае, ограничусь резиньацией... Я просил бы некоторых выступающих не тащить цитологов в свои запутанные дела и остерегаться... в расчете на поддержку... От всяческих бесполезных эвфуизмов...

По залу пролетел шорох смеха.

– Хотя мое дело изучать то, что лежит на предметном столике микроскопа, но все же и меня, видимо, отчасти могла коснуться эта тяжкая болезнь... Не настолько, конечно, лишь косвенно...

– Так тебя же никто и не тянул на трибуну! – отчетливо прозвучал в зале низкий голос. Вонлярлярский замер с открытым ртом.

– Тем не менее, – продолжал он, несколько раз дернувшись, – должен признать со всей прямоотой... иногда поддавшись общему тону, царившему... хотя бы...

Тряся и крутя головой, Вонлярлярский погибал на трибуне.

– В особенности, Натана Михайловича, который... Которого я... Которого я никогда не понимал... Когда о стенах кабинета вы говорите подобное... в ограниченном кругу сочувствующих...

«Он доносит! – подумал Федор Иванович. – Это его личная манера доносить!»

– ...Зная, что это мировоззрение стало оружием...

– При чем здесь мировоззрение! – вмешался тот же отрезвляющий голос из зала. Прозвенел графин.

– ...оружием в руках наших врагов... Я не понимаю, Натан Михайлович, и считаю своим долгом... хоть и беспартийный... не по пути... считаю долгом порвать...

Он развел руками, обмяк, сошел с трибуны, на ступеньках чуть не грохнулся в зал и с вытаращенными глазами побрел по проходу. Он трясся, как балалайка, – Федор Иванович

вспомнил его слова. Толкнув кого-то, Вонлярлярский втиснулся в свой ряд, упал в кресло и крутнул головой.

И все это время в зале стояла тишина. Все смотрели на него, проводили до места. Потом послышался голос председателя:

– Объявляю перерыв.

Достав свою длинную папиросу, Федор Иванович отправился искать место для курения. В коридоре стоял легкий ропот, уже теснилась, роилась толпа. Кружки беседующих мгновенно замолкали, когда он проталкивался мимо, и все собеседники внимательно осматривали его. В одном из уступов сводчатого коридора Федор Иванович увидел одинокого, оглушенного Хейфеца. Никто не подходил к нему. Федора Ивановича сейчас же что-то укололо, и он подошел с протянутой рукой.

– Поверженного врага подними и облобызай, – насмешливо сказал ему профессор и отвернулся. Руки он не подал.

Чувствуя неловкость, Федор Иванович постоял некоторое время, потом слегка поклонился сутулой спине Хейфеца и отошел. Находясь, как бы в тумане, он шел все же к выходу, чтобы на крыльце, под ветерком затянуться, наконец, облегчающим душу дымом. Что-то беспокоило его, и, оглянувшись, он, наконец, понял, что рядом, вплотную кто-то идет и, со страстью припадая к нему, что-то горячо лепечет.

Это был Вонлярлярский. Глядя глазами навывкате наискось под ноги Федору Ивановичу, он говорил:

– ...Много развелось у нас таких гордых интеллигентов... которые через каждые три шага сплевывают направо и налево, идя по улице. Если так все будут выгонять сами себя... А знаете, что это такое? Гордыня бесовская, вот что! Люди погублены, сам горю, зато сколь чист! Гер-рой! Ринальдо какое!.. А вы помните, я говорил о трубке? Если я сижу на такой трубке!! И если система трубок такова, что я не могу переключиться на другую! Другой такой трубки нет, которую можно было бы... проклятому вейсманисту-морганисту... Здесь не до амплификаций! Сиди поэтому и молчи. И старайся, чтобы никто не заметил твое тремоло. И я не вижу никакой альтернативы...

– Товарищ Шамкова! – провозгласил академик Посошков, оглядев исподлобья всех и звякнул графином. Зал постепенно затихал, Вонлярлярский уже сидел на своем месте и был неподвижен. Далеко впереди Елена Владимировна и ее высокий вихрастый сосед о чем-то переговаривались. Стригалева наклонил к ней голову и что-то доказывал. Потом наклонился ниже и отхлебнул из белой бутылочки. А по проходу быстро, мелко шагала и балансировала плечами высокая крупная девица, тяжеловатая в нижней части, с маленькой головой, обтянутой желто-белыми волосами, и с большими красными серьгами. Эти серьги делали ее похожей на белую курицу. Все знали о ее отношениях с Саулом и с интересом смотрели ей вслед.

Показавшись на трибуне, она, будто прислушиваясь, посмотрела в зал, повернула голову к президиуму. Потом опять посмотрела в зал. Она была похожа на курицу, услышавшую шорох в кустах.

– Два дня назад комиссия проверяла наши работы в учхозе, – спокойно начала она читать с листка. – Товарищи остались, в общем, довольны нашими опытами по вегетативному сближению скрещиваемых растений. Прививки наши понравились, и, конечно, было приятно услышать из уст такого специалиста, как Федор Иванович Дежкин, высокую оценку. Однако от зоркого глаза проверяющего не укрылось одно обстоятельство, и, хоть это не получило дальнейшего развития, он выразительно дал всем нам знать, что обстоятельство замечено. Белыми нитками шито. И вызывает недоумение и тревогу...

Ползучая теплота подошла к горлу Федора Ивановича, поднялась к голове, подступила к ушам, к корням волос. «Неужели опять это! – подумал он, ослабляя галстук на шее. – Опять я! Опять моя правда заслонила свет хорошему человеку! Неужели повторение!»

– Федору Ивановичу показалось странным, что все наши прекрасные прививки сделаны нами по крайней мере за четыре месяца до того, как на сессии академии прозвучал призыв ко всем нам сплотиться вокруг знамени мичуринской биологии, поднятого нашими выдающимися лидерами Трофимом Денисовичем и Кассианом Дамиановичем. А я скажу, что не за четыре месяца, а за полгода – в феврале мы уже сажали наши подвои в горшки. Что же, товарищи бывшие апробированные вейсманисты-морганисты, которым аттестационная комиссия не утвердила степеней, – выходит, вы загодя, задолго до сессии начали вашу перестройку? Это, конечно, сделало бы вам честь. Но тогда почему вы, уже запланировав свои прививки, ориентируя на них еще осенью своих сотрудников и аспирантов, почему вы не отзываем свои диссертации, публикуете статьи совсем другого содержания? Ну да, статья пролежала в редакции почти год, – тогда почему вы не выступаете с принципиальным заявлением, хотя бы устным? Забывчивость? Мягкость характера? Не приобрели еще мичуринской боевитости?

Она замолчала, глубоко вздохнув, набирая силы. Зала словно не было, – такая стояла тишина. Елена Владимировна сидела вдали неподвижная, прямая. Стригалева тоже замер, скрестив руки на груди, словно обнимал сам себя.

– Нет, товарищи, – тихо сказала Шамкова. – Никакой забывчивости нет. И характер – дай бог каждому. И боевитость такая, что ого-го. Дело все гораздо проще и печальнее. И печальнее! Все эти красивые и хорошо исполненные прививки – сплошной обман, самая настоящая виртуозная фальшивка, почуять которую может только человек с тонкой интуицией, такой, как Федор Иванович Дежкин. С помощью этой фальшивки обманывают общественность, государство, партию и, в конечном счете – самих себя. Привиты у них не просто дикари, товарищи. Полиплоиды! Колхицинирование проводится дома, на подоконнике – откуда-то ведь достали импортный колхицин! Откуда, спрашивается? Мы, по-моему, это зелье не импортируем... А потом полученного уродца приносят в институт. Рос на собственном корне, будет расти и на подвое! А мы будем тем временем скрещивать полиплоид с культурным сортом, искать философский камень, занимать дефицитную площадь, расходовать государственные средства! Как вы понимаете, я не щаю и себя. Будучи аспиранткой Ивана Ильича Стригалева, видя все это, видя двойную бухгалтерию, которую вел мой руководитель... А он уже год назад чувствовал, что идут черные для вейсманизма-морганизма времена, и завел два журнала. Два!

Восклицания у нее тоже получались тихими.

– Один мичуринский, фальшивый, другой – зашифрованный, формально-генетический. В фальшивом пишет: изменение числа хромосом под влиянием прививки. А изменяет-то колхицином!

– А получалось? – коварно спросил кто-то в зале. Раздался смех, кто-то захлопал.

– Не в том дело, что получалось, а в том, что велись фальшивые записи, – спокойно сказала Шамкова. – И я должна была довести все это до сведения общественности – и не сделала этого вовремя...

Она спокойно высказала все это и спокойно смотрела в зал, отдыхая.

– У вас все, Анжела Даниловна? – хмурясь, спросил председатель.

– Нет, не все, – она взглянула в свою бумагу. Тихо продолжала: – Меня удивляет, товарищи, – в наше время, когда вся страна включилась в великую битву за перестройку научных основ нашего сельского хозяйства, в такие дни занимать позицию, которая выгодна... которой будут рукоплескать за рубежом... И при том ладно уж сам... Но студентов, Сашу Жукова в это дело вовлекать, сбивать с толку! Комсомол старается формировать крепкие моральные устои, мировоззренческую убежденность... И вдруг так спокойно губить, коверкать молодому, совсем мальчику, жизнь. Я никогда не могла понять... Такой не знающий жалости эгоизм...

Она сошла с трибуны под страшный грохот и рев зала. Чуть слышно зазвонил графин. Сразу же поднялись в разных местах несколько рук.

– Товарищи! Товарищи, заявок с мест не принимаем, подавайте записки! – крикнул председатель.

– Сейчас начнется, – довольно громко сказал за спиной Федора Ивановича басистый старик.

И действительно, началось. Какие-то люди – добровольцы – один за другим спешили на трибуну, трясая головой, требовали самых суровых, решительных мер.

– Товарищи! – кричала какая-то пожилая женщина с красными волосами. – Вообразите, что было бы, если бы победили не мы, а фашисты. Они бы всех нас, мичуринцев, всех до одного перевешали! А этого-то закоренелого... Вейсманиста-морганиста... Поставщика аргументов для их расистских бредней...

– Христиан – львам! – вдруг внятно сказал кто-то в зале.

– Вы историк, вот скажите, – вполголоса басил сзади старик. – Вы не заметили – отчего бы это: как забрасывать кого камнями или омыwać кому слезами ноги – всегда впереди женщины... Не задумывались, отчего это?

Минут через двадцать, в течение которых на трибуне сменилось человек шесть или семь и сквозь жаркий туман и грохот слышались их напряженные голоса, в президиуме поднялся Варичев.

– Товарищи! – сказал он под звон председательского графина. – Товарищи... Я хорошо понимаю ваши протесты. Я думаю, истина в нашем споре с вейсманистами-морганистами уже более чем ясна. Голос научной общественности – с ним нельзя не считаться... Хотелось бы услышать, как относятся к нему те... Иван Ильич, – сказал он миролюбиво. – Мы хотели бы послушать... Аудитория ждет от вас...

Шум быстро стал опадать. Далеко впереди Елена Владимировна чуть заметно пожала руку Стригалева. Он опять отхлебнул из белой бутылочки и встал – очень худой, взъерошенный, как будто спал, не раздеваясь, и его подняли. Угрюмо оглянулся на зал и стал выбираться из ряда. Не спеша пошел по проходу, не спеша поднялся на трибуну, почти налег на нее локтями, стал смотреть куда-то в потолок, ожидая тишины.

– Да, было, было два журнала. Два, – заговорил он тихим, как бы недовольным голосом и еще сильнее налег на трибуну, все так же глядя вверх. – В общем, что получается... Свобода не для всякого слова – часто я такое слышу. Враг тоже хотел бы протасить свою пропаганду, поэтому не подпускать его к трибуне. Что – не так? А я – враг. С точки зрения советской науки, стоящей на правильных позициях. Это сегодня каждому ясно. Кому даем трибуну? Кому даем средства, зеленый свет? Мичуринской науке в лице академиков Лысенко и Рядно. Конечно, не в лице Мичурина. Еще не известно, что бы старик Мичурин сказал. А кто, скажите мне, – тут он в первый раз пристально посмотрел в зал. – Кто определит, на правильных ли позициях стоят наши академики? Да сам же Кассиан Дамианович и скажет. А враг, то есть я, говорит, что он неправ, что если по академику Рядно все делать, отстанем на полвека. И начнем голодать. А коллектив – объективный критерий – кричит на это: предупреждаю в последний раз! Делай так, как требует академик Рядно. Я обращаюсь к начальству. А оно ничего не понимает и враждебно. Его тоже наши академики ведут под обе ручки, с бережением. А в конечном итоге ответственность за науку и, стало быть, практику, лежит на ком? На начальстве? Как бы не так – начальство скажет: меня обманули. Слишком часто говорили эти слова: «диалектически», «скачкообразно» – и я поверило. Поскольку специального образования не имею. И не на коллективе ответственность будет лежать. Он скажет: я заблуждался, меня обкурили этим... веселящим газом. Ответственность будет на том, кто все понимает, на кого газ не действует, на ком противогаз. На мне, на мне лежит ответственность. И меня надо будет судить, если я поддамся и не сумею ничего... Для чего тогда меня учили в советской школе? В таких условиях и приходится...

– И все же вы заблуждаетесь, – округлив глаза, перебил его из президиума ректор.

– Я не могу нажать на своем теле кнопку и перестать заблуждаться.

– Мы ее нажмем! – крикнул кто-то в зале.

– Вы отрицаете внешнюю среду, – мягко, отечески сказал Варичев.

– Никакой настоящий ученый не станет отрицать или утверждать то, что ему не известно с достоверностью. Мне достоверно известно...

– Вы все время смотрите куда-то в потолок, – так же мягко, с улыбкой перебил его ректор. – Вы кому говорите?

– Богу, богу... – с такой же улыбкой, показав стальные зубы, ответил Стригалева. И Федор Иванович заметил – в аудитории сразу потеплело. Но не надолго.

– Так я говорю: мне достоверно известно первое – чуть больше чем полупроцентный раствор колхицина дает удвоение числа хромосом у картофельного растения. Сам сотни раз удваивал. И знаю, как это делается и почему. Видел в микроскоп и держал в руках. Второе: это удвоение дает организмы, во многом отличающиеся от исходных. Третье: эти новые растения, если они до эксперимента были привезенными из Мексики дикарями, теперь, приобретая новые качества, вступают в скрещивание с «Солянум туберозум», с картошкой! То есть открываются новые пути для селекции. Так что же – мне отказаться от этого?

– Вы уродуете природу! – отчаянно закричал кто-то в зале.

Стригалева посмотрел в сторону крикуна и грустно покачал головой.

– Голос невежды. Дело в том, что все наши эксперименты это лишь повторение того, что в природе происходит миллионы лет. А вот ваше «не ждать милости, взять» – вот оно больше похоже на насилие. Только природу силой не больно возьмешь. Вот и я. Уступить силе мог бы. Но не уступлю. А убедиться – это не в моих силах. И вам пока не удастся убедить...

– Почему? – сказал Варичев. – Среди нас есть товарищи, которых мы убедили... Они нашли в себе мужество...

– Ну, такого мужества я в себе не нахожу.

Стригалева помолчал немного, как бы ожидая новых вопросов.

– Крестьянина, крестьянина вы забыли! – закричал кто-то в дальнем углу зала. – Что он скажет о вашем колхицине?

– Крестьянин это не ученый, а практик, – тихо сказал Стригалева. – Практика это память о привычной последовательности явлений. Посадил зерно – должно прорасти. И действительно, растет. Это не наука, а память о причинных связях. Ученого характеризует знание основ процесса. Два года назад товарищ Ходеряхин во время отпуска где-то на своей родине в поле нашел колосья голозерного ячменя. Привез, высеял на делянке, получил урожай и говорит: я вывел новый сорт! Даже академик его поздравил. А это оказался всего-навсего широко распространенный китайский ячмень «Целесте». Он даже этого не знал! Товарищ Ходеряхин был здесь типичным практиком-крестьянином, но не ученым. Крестьянин может вырастить хороший урожай, но это не дает ему права называться ученым.

– А по-вашему, плохой урожай – это наука? – закричали из зала. – А хороший – значит, практика?

– Я высказал вам свою точку зрения, – сказал Стригалева, не замечая криков. – Никем серьезно не опровергнутую точку зрения.

Еще постоял на трибуне, поглядел в зал, оглянулся на президиум и не спеша сошел вниз.

Зал ровно шумел. В разных его концах шли дискуссии. В президиуме Цвях, поворачивая голову то в одну сторону, то в другую, пристально слушал и время от времени ставил перед собой вертикально свой карандаш. Посошков – опытный председатель – не звонил в свой графин, давал всем выговориться. Потом поднес палец с золотым кольцом к графину. И тут впереди Федора Ивановича у самой сцены раздался дребезжащий голос профессора Хейфеца:

– Прошу слова для заявления!

– Неужели каяться пойдет? – сказал кто-то сзади.

– Думаете, опознал? – спросил басистый старик.

– Не знаю... Но вид у него решительный.

Хейфец уже стоял на трибуне, торжественный, откинувшийся назад.

– Я хочу сделать следующее заявление, – задребезжал его голос в странной тишине. – Я не выступил с ним раньше из ложной сентиментальности – не поворачивался язык. Я не допускал мысли, что такие методы возможны... Слушая ваш, Петр Леонидович, доклад, я ожидал: вот-вот он назовет фамилию Ивана Ильича Стригалева. Вы не назвали, и я подумал: ну, великодушен наш... Я проникся уважением! И решил в свою очередь промолчать о том, что знал. А теперь заявляю, что я согласен с вами: нам действительно не по пути! Вчера, товарищи, двое из сидящих здесь в зале слышали и записали следующую беседу товарищей Варичева и Побияхо с Анжелой Шамковой. Они зашли в эту комнату... ну, эту, где фанерка. Чего не натворишь второпях. А за фанеркой, в моем кабинете – пока в моем, – эти два товарища нечаянно оказались. И вот что они слышали и записали. Слушайте! Варичев: товарищ Шамкова, ты знаешь, что твой руководитель формальный генетик? Она: нет. Он: а мы знаем. Придется тебе выступить на собрании. Она: с какой это стати? Он: а с такой: мы все знаем, вас во время ревизии Дежкин Федор Иванович уличил. Так что ты не запирайся, нам все известно. Не выступишь, так вылетит из аспирантуры. Руководителя снимем, теперь это ясно, вылетит и ты. А выступишь – получишь новую тему и нового руководителя. Замечаете, каков стиль! «Ты» – как с карманником в отделении милиции! Ну и после этого Шамкова, подумав, рассказала им все, что вы слышали. Потом Петр Леонидович вышел, и Побияхо одна домолачивала Шамкову. Тут уж товарищи и меня позвали послушать. Вы, Анна Богумиловна, сказали: «Милочка, ух, как я быстро сделаю тебя кандидатом!»

– Товарищ Хейфец, не сгущайте краски! – загремел из президиума Варичев. – Такой разговор был, но совсем в другой тональности.

– Хорошо! Не время доказывать. Но вы же сделали вид, что ничего не знаете! Должны были сразу честно сказать, внести в доклад! А то как новость сенсационную подали! Накаляете страсти.

– Мы молчали, чтоб дать возможность самому Ивану Ильичу...

– Вот, вот! Значит, вы его, как волка, в засаде подстерегали! Организованно!

– А ваша маскировка – это не прием? – закричал кто-то из зала.

– Мы в обороне. Это тактика.

– А мы – в наступление – сказал Варичев, поднимаясь. – Вы прислушайтесь к залу, товарищ Хейфец! Прислушайтесь! Коллектив не на вашей стороне.

– Как же я могу прислушиваться к коллективу, когда он весь обкурен парами догмы и, надышавшись, бредет, как во тьме, не видя пропастей и давя ногами невинных!.. Когда он отдышится от этого газа...

– Товарищ Хейфец! Товарищ Хейфец!.. – это председатель, звеня графином, подал голос.

– ...Когда он опомнится, тогда я отдамся на его суд. А сегодня лучшим коллективным деянием, деянием ради общества, ради всех, будет отделение от такого коллектива...

– Товарищ Хейфец! Я принимаю ваше устное заявление, – ледяным голосом протрубил Варичев. – И налагаю устную же резолюцию. Вы больше не член нашего коллектива. Можете...

– Мне здесь и делать нечего! – Хейфец отмахнулся рукой, спускаясь в зал. – Сделали из биологии филофосию! Сплошные обскуранты!

– Позор! – отчаянно закричал кто-то в зале.

– Ничего, буду сам ковыряться! – выкрикивал Хейфец, идя по проходу. – Заведу огород под кроватью! Хватитесь еще, хватитесь!

Хлопнула тяжелая дверь...

В глубоких сумерках Федор Иванович и его «главный» возвращались к себе в комнату для приезжающих. Федор Иванович молча углубленно курил, как-то внезапно ослабев. Во-

первых, потрясло то, что у Стригалева, кроме стальных зубов, лагерного прошлого и какого-то общего сходства с никелевым геологом, оказались еще два журнала, двойная бухгалтерия. И он, Федор Иванович, опять приложил руку к тому, чтобы отравить жизнь такому человеку. И он уже чувствовал, что человек этот прав.

А во-вторых, он только что видел: Елена Владимировна и Стригалева быстро прошли, почти пробежали мимо и скрылись в потемневшем парке. Елена Владимировна держала его под руку, заглядывала ему в лицо. «Да, – думал Федор Иванович, – он, конечно, лучше меня, если честно признаться. Что – я? Опять „нечаянно“ человеку ножищу подставил! И с какой это стати, какое я имею право, приехав со стороны, вмешиваться в их давно сложившиеся устойчивые отношения, судя по всему, очень серьезные».

Цвях размяк по-своему. Глядя себе под ноги, размышлял вслух:

– Всегда, Федя, я не перестаю удивляться, наблюдая движение стай. Например, рыбьих мальков. Это же черт те что! Вот идут все параллельным курсом. Потом вдруг хлоп! – как по команде, все направо. Или налево... Так, вместе, маневрируя, и подрастают, потом вместе попадают в одну сеть, а там и в одну бочку... Что за закон?

«Неужели и здесь я, верный своей планиде, сунусь и разрушу – теперь целых две судьбы?» – думал Федор Иванович.

– Да, Федя, – Цвях вздохнул. – По-моему, мы с тобой гнали сегодня еще одну собачечку. А? Такое не забудешь...

«Нет, нет, ни в коем случае не сунусь! Бежать надо, бежать! Хватит с меня разрушенных судеб», – думал Федор Иванович, в то же время кивая Цвяху.

– Когда я был маленьким, – Цвях заулыбался. – Мать, бывало, пироги печет, и у нее остается: или тесто, или начинка. Если тесто – булочку испечет, накрутничек. Если начинка – котлетку. Я так думаю, Федя, Вонлярлярский – как такая вот булочка.

– Без начинки, – согласился Федор Иванович. – Но сколько их в булочной...

– Но добровольцы-то каковы! Как рванулись топтать! А глаза видел? Загадка века.

– Загадка веков, – сказал Федор Иванович. – Загадка всей человеческой популяции.

– Все же мир до конца не познаваем, – вдруг сказал Цвях. – Знаешь, я сейчас беседовал с одним из этих добровольцев. Молодой. Пока о вейсманизме шло – тарасился. Потом я спрашиваю: «У вас, наверно, есть мама?» – «А как же!» – и уже мягкий. «И вы ее любите?» – «Кто же не любит свою мать?» – «Как тебя зовут, сынок?» – «Слава», – и вытер лоб, смотрит на меня ясными, добрыми такими глазами. Совсем другая система! Правда, в его взгляде проглядывался такой жучок... Он почувствовал, что я неспроста интересуюсь. В общем, загадочка!

Они помолчали некоторое время.

– И я спрашиваю себя, – продолжал Цвях. – В джунглях Амазонки висит на лиане вниз головой такое странное существо с зеленой шерстью, с круглыми глазами. О чем оно думает? Как? О чем думает собака? О чем и как думал головастый дурачок Гоша у нас в деревне? О чем думает этот доброволец? О чем в действительности, для себя, думает Варичев? Наверняка же не о том, что говорит! Нет, никогда не узнать. Башка раскалывается! Вот я – кто я такой? Наверно, прав Стригалева – обыкновенный я крестьянин. Причинные связи, последовательность фактов запомнил и делаю все, как эта связь велит. Посадил зерно – смотрю, растет. Лезет, понимаешь... Но они – если знают столько, сколько я, куда они суются? Почему так орут? Я, например, очень серьезно слушал этих... Хорошо ведь аргументируют. А те не понимают! А, Федя? Я тебе честно признаюсь, хочешь? Я до этого дня никогда не слышал ихних аргументов. Только наши... Думаю послезавтра удрать отсюда к чертям. Вернусь к своим яблоням, это дело мне знакомое, простое, проще ихних вопросов. Дело свое мы тут сделали, а наблюдать со связанными руками всю их заваруху нет сил. Прав, прав ты был, когда у Тумановой... Добро это страдание. Сидел я в этом президиуме и чувствовал: становлюсь все добрее. Еще немного, и заеду кому-нибудь по роже. Давай, Федя, послезавтра утречком на поезд, а?

«Вот! – подумал Федор Иванович. – Это и есть выход. Уеду!»

С грустью, но решительно он простился со своей мечтой. И даже замедлил шаг от внезапной слабости.

Глубоко вздохнул.

– Ты что, Федя? Чего охаешь?

– Да так...

– Не переживай. Я сам тогда чуть не подпрыгнул, когда ты... От восхищения. Это же само собой получается – радость по поводу своей проницательности. На научный восторг похоже, когда откроешь явление. Тут человек делается как полоумный. Ты же себя сам и остановил. Я все видел – ты опомнился. Вот только чуть поздновато. Не нами сказано: слово не воробей...

Федор Иванович молчал. Усиленно дымил папиросой.

– С этой биологической наукой сегодня все стали следователями, – ворчал Цвях. – Смотрят друг на друга, норовят с хвоста зайти. Конечно, в таких условиях держи ухо востро. Брякнешь что не так – и нет человека.

Сами того не замечая, они постепенно нагоняли шеренгу студенток. Девушки спорили о чем-то, то и дело останавливались, бросали растопыренные пальцы одна другой в лицо. Когда Федор Иванович и Цвях подошли к ним вплотную, студентки опять остановились. «Гнать, гнать его надо из комсомола!» – услышал Федор Иванович одно и то же, несколько раз повторяемое на разные голоса. С клюющими движениями головой.

– Кого это вы так, девушки? – Цвях, широко улыбаясь, остановился перед ними,

– Вы были на собрании? – спросила одна, и из мрака выступила ее юная красота, одухотворенная спором.

– Оттуда идем...

– Значит, слышали все! – наперебой сердито зашебетали они, – А как же! Он же вейсма-нист-морганист! Вчера мы с ним поспорили...

– Это что, ваш товарищ?

– Сашка Жуков? Какой он товарищ! Товарищ!.. У Стригалева днем и ночью торчал. Все знал и молчал...

– А-а... – вдруг прокаркал в темноте некий узенький человечек, подошедший сзади. – Тогда правильно! Мало ему, дрянь такая! Исключить его! Посадить! Расстрелять! – удаляясь, каркал он с тончайшей издевкой.

– Вот видите! – сказал Цвях, постепенно переходя к нотации. – Вот так необдуманно покричите на улице и получите как донос. Глядишь, и из института человека исключат...

– И правильно сделают! – крикнула красивая и поджала губы. – Мы с ним не разговариваем!

Почти бегом Федор Иванович и Цвях бросились от них наутек.

– Ну цыплятки! – крикал и качал головой Цвях. – Совсем как у тети Поли! Ключут...

– Я их не могу осуждать, – негромко сказал Федор Иванович. – Сам в детстве клевал...

– Да, ты прав, прав. Юность – страшная вещь. Даже когда за правое дело бросается в огонь, она и тут бывает страшна, потому как не понимает же, не понимает ни черта! А рука уже тяжелая, как у большого. Я-то был тогда совсем ведь молодым, когда на крест веревку...

Они надолго замолчали. Потом Цвях развел руки, словно обнимал надвигающуюся ночь, и глубоко втянул в себя воздух.

– Прямо на глазах потемнело. А чувствуешь, Федя, какой воздух? Ночь любви! Погуляем напоследок?

Федор Иванович послушно подчинился, и они свернули в парк.

– Брось курить в такой вечер, – сказал Цвях и, выхватив у него изо рта папиросу, бросил. – Дыши и мечтай. Знаешь, о чем? О прекрасной женщине.

Они брели между деревьями, почти впотьмах. Иногда мимо них в теплом мраке скользили, неслышно уклонялись в сторону темные человеческие фигуры, сгустки тайны, все по двое – одна тень высокая, другая пониже. И Федор Иванович каждый раз угрюмо всматривался в них, прислушивался к тихим голосам.

Утром в субботу они, разбросав на койках свои вещи, складывали их в чемоданы.

– Никак вчерашний денек из головы не идет, – говорил Василий Степанович. – Я так думаю, Федя, у всех, кто там был вчера, проснулось это самое... Помнишь, говорил я тебе про спящую почку. Про героев и подлецов. По-моему, у всех.

– И в вас?

– Шевелится, Федя. Так что едем в самое время. Подальше от соблазна.

Федор Иванович вспомнил о своем неоконченном эксперименте. Пробирка с десятью мушками и мутно-розовым киселем на дне по-прежнему стояла на подоконнике в стакане, спрятанная от постороннего глаза. У мушек кипела жизнь. На границе с киселем у самого дна уже были приклеены к стеклу словно бы комочки манной крупы – яйца мушек.

– Выпустить надо их... – проговорил задумчиво Федор Иванович.

– Зачем было тогда огород городить? – сказал Цвях сзади него. – Ты сам говорил – ясность надо вносить. Возьмем с собой в Москву. Если тебе не интересно – я возьму.

После завтрака, выйдя из столовой, они разошлись. Цвях отправился в ректорат – отмечать командировочные удостоверения, а Федор Иванович, полный надежд, как охотник, углубился в парк, прошелся к учхозу. Но того, о ком он думал, встретить в парке на пути к корпусам не удалось. И в учхозе в этот день не было практикумов. В институте шли занятия, понятное дело, все были там, в аудиториях.

В два часа дня они, пообедав, завалились на койки. Федор Иванович лег, чтобы наедине с самим собой потосковать, но замечательно заснул и проспал часов до пяти. Проснувшись и сев на койке, он покачал головой, удивляясь самому себе. Потом вскочил и отправился к Борису Николаевичу Пораю – попрощаться. Дорога к дядику Борика шла сначала парком, потом полем, затем, перейдя по мосту через ручей, он оказался на знакомой улице, дошел до первой площади и некоторое время постоял под аркой большого дома – как раз под балконом-поэта Кондакова, под его спасательным кругом. Он внимательно осмотрел знакомое семиэтажное здание, но окон Елены Владимировны так и не нашел.

Дядик Борик жил в стороне от новой, застроенной серыми кирпичными домами улицы. В его переулочке были сплошь деревянные оштукатуренные домики с мезонинчиками – сплошная старина, царские времена. Федор Иванович прошел через двор, взойшел по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж и позвонил у высокой старинной двери. Открыла маленькая желтолицая жена Порая. Она сразу узнала Федора Ивановича и пропела:

– Давненько, давненько! А у нашего дядика Борика сегодня опять день механизатора. Борис! – с досадой крикнула в глубь квартиры. – Ничего не слышит. Проснись, к тебе гости! Учитель пришел!

– Я попрощаться... – сказал Федор Иванович, проходя в большую комнату с двумя сосновыми стойками в центре, подпирающими потолок. По сторонам громоздилась всевозможная старинная мебель, а между стойками во главе длинного стола в старинном кресле с «ушами» восседал дядик Борик – поставив локти на стол, подперев обеими руками голову, запустив два пальца в рот и закусив их деснами – в позе глубочайшего раздумья. Тяжелые веки были опущены на глаза, жирные нечесанные пряди свалились на лоб. Перед ним стояла сковорода, на ней было несколько котлет и вилка с надетым куском. На две трети отпитая бутылка водки и граненый стакан с остатками на дне выдавали весь смысл «дня механизатора», и без того давно знакомый Федору Ивановичу.

– Проснись, кандидат наук! – женщина сильно потрясла его за плечо. – Пришли к тебе! Федор Иванович, Учитель пришел!

– Цыц! – чуть шевельнул он толстыми губами. Углубившись в себя, он дышал с нутряным озабоченным сопеньем. Потом веки медленно поднялись. Он поднес руку к бутылке, приглашающе ткнул пальцем. Осмысленный взор с лукавым вопросом остановился на госте.

– Нет, нет, я не буду, – поспешно сказал Федор Иванович.

– Не все такие, как ты, – подхватила женщина.

– Цыц!.. Переевшая мне мозги... – ползучим голосом пробормотал дядик Борик, перемежая слова сопеньем. – Это я вместо энергичного термина. Хорошего термина, который ей не нравится, – он усмехнулся. – Да, Учитель, у дядика Борика сегодня... Сегодня у него день механизатора. Досрочный. Если вы хотите разделить...

– Спасибо, дядик Борик, спасибо... Почему досрочный?

– Есть причина... Приходите дня через три. Сейчас я беседую с вечностью. Вам, трезвому, в нашем обществе места нет. Приходите, дядик Борик хотел вам что-то... Запомнил...

– Я же уезжаю.

– В Москву? Ну что ж, с богом... Счастливого пути. Приезжайте...

И веки тяжело опустились.

Идя назад, Федор Иванович все же поглядывал по сторонам, что-то, тихонько догорая, все еще напоминало о себе туповатой болью. В комнату приезжающих он вступил с очистившейся душой, перешедшей на новый путь. Да, эта поездка была для него серьезным испытанием, научила многому, произвела хорошенький массаж.

Цвях ждал его, сидя на своей койке.

– Касьян сейчас звонил. Придется мне одному ехать в Москву.

– Что такое?

– Тебе велит оставаться. Я ему за тебя ответил, что ты как раз об этом думал...

– Меня бы следовало спросить, – сказал Федор Иванович угрюмо. – Я уеду вместе с вами. Что смотрите? Уеду, уеду...

– Не уедешь, Федя. Тут, знаешь, сейчас что начнется? Не уедешь. Останешься на месяц исполняющим обязанности, остороженько поможешь кому-нибудь. Ретивых маленько придержишь. Надо, надо остаться, я дал ему твое согласие. А то ведь Саула пошлет... Они здесь очень будут рады...

– Ну как же вы все-таки! – Федор Иванович сел – прямо рухнул на свою койку, хлопнул рукой по колену.

И сейчас же почувствовал, что все эти движения фальшивы. Замер на койке, прислушиваясь к самому себе, улавливая отдаленный голос. Этот голос уже не раз подталкивал его к какому-то решению. В переводе на человеческую речь это звучало примерно так: неужели ты мог бы удрать оттуда, где по твоей вине обрушилась чья-то судьба? Ведь если бы ты не развернул все свои перья, красуясь перед Еленой Владимировной, не разошелся вовсю там, в оранжерее, все могло бы быть иначе. И этот Стригалева – он ведь прямо копия того геолога, искавшего никель...

– Он еще сегодня позвонит, – сказал Цвях. Телефон зазвонил, когда в комнате совсем стемнело – было видно только синее окно. Федор Иванович снял трубку и сразу услышал веселое гусиное гагаканье академика Рядно.

– Я тебе почему звоню. Ну, во-первых, сынок, я доволен твоей работой. Ты выполнил сложное и ответственное задание. Справился. Проявил такт, правильно зацепил и наших. Так им, дуракам. Объективность прежде всего! И этого. Троллейбуса, вывел на чистую воду – это ж у них фельдмаршал был! И сам в стороне остался – чтоб не думали, что академику Рядно нужны жертвы. Я ж знал, кого послать! Саул на такие тонкости не способен. В общем, ставлю тебе пять, сынок. Пять с плюсом. И Варичев доволен. Теперь слушай во-вторых. Понимаешь, начатое дело нужно доводить до конца. То, что сделано – это только начало. Ты, конечно, и здесь мне вот так нужен, с твоим талантом, – он умолк на время. – Однако и там... Нужно

еще насаждать и укреплять. Там сейчас начнут вейсманистские талмуды жечь – не бойся, это сделают без тебя, я сказал Варичеву. С такими вещами ты не станешь мараться, я ж знаю тебя, сынок. Ты мне учебный процесс на новые рельсы переведи. Учебники, методику – все это пришлю. Я прослежу. И проблемную лабораторию... Там пока ничего не трогай, так все оставь. Я тут для тебя новую проблему готовлю. На старом сусле, но с новыми дрожжами. Пока этого хватит. Идейка будет – упадешь, как узнаешь. Но это – после поговорим...

– Яас-сно, – сказал Федор Иванович.

– Энтузиазма не чую, Федя...

– Какой тут энтузиазм, когда кругом...

– Борьба идей, сынок. Закаляйся.

VI

Рано утром в воскресенье за окном раздался сигнал институтского автобуса. Федор Иванович подхватил чемодан своего товарища и вслед за Цвяхом вышел на крыльцо.

– Ну, – бодренько сказал Василий Степанович. – Втравил я тебя в это дело, теперь держись.

Крепко пожали друг другу руки, и Цвях укатил. И остался Федор Иванович один. Воскресенье тянулось очень медленно. Вдобавок еще начал накрапывать, а потом и всерьез разошелся мелкий осенний дождь. Федор Иванович почти весь день пролежал на своей койке, глядя в старинный сводчатый потолок.

В понедельник с утра он был в ректорате. Там секретарша Раечка дала ему прочитать приказ, где значилось, что кандидат биологических наук Дежкин Федор Иванович «сего числа и до особого распоряжения» назначается исполняющим обязанности заведующего кафедрой генетики и селекции с одновременным исполнением обязанностей заведующего проблемной лабораторией. Поставив под этим приказом простенькую подпись, Федор Иванович ушел в «свой» корпус.

Все преподаватели уже сидели в той комнате, что была рядом с кабинетом заведующего кафедрой. Ходеряхин тонко и грустно улыбался, Краснов вежливо глядел в пол. Анна Богумиловна издала веселый рык:

– Вот и наш зав!

Здесь же сидел за столом и профессор Хейфец. Встав, он тронул Федора Ивановича за локоть и тихо, почтительно попросил:

– Вы позволите мне взять портреты?

– Пожалуйста, – так же тихо ответил Федор Иванович. – Я еще не принимал у вас кафедру.

– А что там принимать... – старик посмотрел с древней, библейской тоской. И Федор Иванович ответно коснулся его руки.

– Пожалуйста, берите все, что вам надо. И я бы хотел, чтобы вы не навсегда...

– Что будем делать с иконостасом? – громко гаркнула Побяхо. – Может, отнесем эти портреты на хоздвор?

– А что на хоздворе?

– Федор Иванович, вы еще не знаете? – Тихонько прогудел около него Хейфец. – Там уже с семи утра костер... Жгут книги. Пожилая бездарь и молодая глупость жгут классические учебники.

– Портреты отдадим Натану Михайловичу, – сказал отчетливо Федор Иванович.

– Портрет академика Лысенко надо заменить, – заметила Побяхо.

– Что толку? – сказал ей с улыбкой Хейфец.

– Замену поручим вам, Анна Богумиловна, – Федор Иванович устремил на нее мягкий непроницаемый взгляд.

– А мне что делать? – подал голос Стригалева. Он тоже был здесь, сидел в углу.

– Как, что? Я вижу, вы в пиджаке и с галстуком. У вас сегодня, по-моему, лекция. Значит, вам идти в зал.

Тут он заметил Елену Владимировну. Все это время она пристально смотрела на него, но он был занят разговором с другими. Теперь заметил и на миг остановил на ней свой мягкий прохладный тициановский взгляд, который можно было прочесть примерно так:

«Надеюсь, мы покончили, наконец, со всеми боевыми заданиями. Слава богу. Теперь на основании приказа ректора мы можем перейти к спокойным деловым отношениям».

– Я считаю, что все должно идти, как шло, – сказал он. – Правда, с некоторыми поправками, смысл которых, я полагаю, всем ясен.

Что-то вздрогнуло в нем, и больше он на Елену Владимировну не смотрел. Он знал, что недостатков у него хоть отбавляй – он и неказист, и рост маловат, и слишком открыт, и наивен, и хорошо умеет попадать впросак, а она вон какая – ее совсем не видно. Нет, хватит! И он захлопнул все ставни.

Она, конечно, все это прочитала, похолодела и, гневно сведя честные четкие брови, стала смотреть в окно.

Стригалева поднялся, взял свою тоненькую кожаную папку и вышел. Комната постепенно пустела. Федор Иванович тронул кофту профессора Хейфеца.

– Натан Михайлович, пойдемте, я помогу вам снимать портреты.

Старик, посапывая, послушно поплелся за ним. В кабинете Федор Иванович поставил под портрет Менделя стол, сняв с него спиртовку, на которой неделю назад Леночка варила кофе. На столе утвердил стул – и вот портрет уже стоит на полу, и поникший Натан Михайлович рукавом кофты стирает паутину с тяжелой дубовой рамы.

Когда был снят со своего места Морган, послышался неуверенный стук, дверь кабинета приоткрылась и показался хмурый Стригалева.

– Вы не пошли? – Федор Иванович спрыгнул со стола.

– А вы посмотрите, что там делается...

Федор Иванович не стал ничего спрашивать. Похлопал в ладоши, отряхивая пыль, и, не оглядываясь, устремился в коридор быстрым, строгим шагом.

Обе половинки дверей Малой лекционной аудитории были распахнуты. На скамьях, амфитеатром уходящих к потолку, группы студентов замерли, и было видно, что появление строгого и решительного нового зава кафедрой прервало горячие споры. Все повернули головы к входу. Самая большая группа собралась внизу, на помосте, где была кафедра и стол для демонстрации экспериментов. Здесь же стояла Анжела Шамкова. Ее белый палец с бледным ногтем как бы писал нервные завитушки на листе бумаги, лежавшем на столе.

Федор Иванович подошел.

– Нет, ты подпишешь, – говорила Шамкова сильно покрасневшему молоденькому студенту. – Лекции он читал неинтересные. И мичуринское учение у него получалось с подкладкой, с обманом. Он же вейсманист-морганист! Его все равно уже...

Студент с ужасом оглянулся, увидел Федора Ивановича и еще больше покраснел.

– Что здесь? – громко спросил Федор Иванович, чтоб спасти беднягу от наседавшей на него Шамковой. Взял со стола листок. Студент сразу же, показав товарищам круглые повеселевшие глаза, шагнул в сторону.

– Мы, студенты факультета генетики и селекции растений, просим ректорат избавить нас, – чеканя каждое слово, громко прочитал Федор Иванович, становясь непроницаемым. – ... Избавить нас от обязательного слушания лекций И. И. Стригалева, который, как выяснилось...

На лицо Федора Ивановича легла жесткая тень официальности, губы стали тоньше.

– Почему я ничего не знаю об этом? Анжела Даниловна! Я все-таки здесь...

– Это согласовано, Федор Иванович...

– Вы же сами сказали – его все равно... И притом, уже. Зачем же еще этот дополнительный... ритуал?

– Федор Иванович! – Шамкова вздохнула с досадой. – Это письмо обсуждено парткомом и комсомольской организацией. Будет завтра напечатано в нашей газете.

– Д-да? Тогда конечно. Хотя, в общем, странно. Ну, и как дело идет?

– Есть не подписавшие. Некогда было провести работу...

– Ну-ка, что тут... Ого, собрали все-таки! По-моему, человек тридцать есть. А говорите, некогда. А это что? Анжела Даниловна! – Он остановился, посмотрел на нее с удивлением. –

Что же это вы, вожак, и не подписались под этим историческим документом? А? Страшно? Напечатают в газете?..

Шамкова начала розоветь, опустила глаза.

– Любопытно... – он понизил голос. – Испугались? Знаете, как Библия определяет фарисеев? Возлагают на людей бремена тяжелые и неудобноносимые... Сами же пальцем не двинут...

Шамкова вспыхнула, оглянулась на студентов.

– Я же не... Я все-таки в аспирантуре...

– Вы прежде всего тот, кто зовет. Кто, как вы говорите, проводит работу.

Она с нетерпеливой досадой, громко вздохнув, схватила ручку.

– Впереди, впереди, – сказал Федор Иванович, холодно глядя на нее. – Впереди всех. Вот так. Теперь вы получили право проводить... вашу работу.

Окинув ее быстрым взглядом, Федор Иванович повернулся и вышел.

В глубине коридора, ближе к кабинету кафедры, ждал его Стригалева, прислонившись к стене.

– Да, вам, Иван Ильич, лучше туда не идти. Дело гиблое. Отцы и дети...

Стригалева чего-то ждал. Он смотрел и как бы протягивал руки – ждал помощи.

– Дверью не вздумайте хлопнуть, – сказал ему Федор Иванович. – Вы попали под бой. Отчасти и по моей, Иван Ильич, вине. Я постараюсь свою долю вам возместить.

«Это большая доля, и я все возмещу», – хотел он еще сказать, но вовремя одернул себя, смолчал. Такие вещи не говорят. Просто возмещают.

– Вам сейчас нельзя делать ошибок. Эмоций не нужно. Хорошенько обдумывайте каждый шаг, всю линию.

– Линия давно обдумана – угрожающе, но и доверительно пробубнил Стригалева. Морщась, он потянул за шнурок, достал из-за пазухи белую бутылочку. – Линия единственная. – Он отхлебнул. – И я думаю, что меня хватит...

– Что это у вас?..

– Сливки. У меня же язва...

– Ах, вот что...

– Затесалась, черт ее... – Стригалева улыбнулся, блеснув стальными зубами.

Они постояли молча. Федор Иванович жал ему руку, задерживал, не хотел выпускать. И Стригалева не отнимал руки, как будто хватался за последний шанс.

«Иван Ильич! – так и рвалась из Федора Ивановича горячая клятва, и он удерживал ее. Я возмещу. Не как смогу, а как должно!...»

Как быстро делаются некоторые дела! Через два дня утром до начала занятий во всех залах, кабинетах и лабораториях читали свежую маленькую газетку – многотиражку института. «Сорную траву с поля вон!» – прочитал Федор Иванович на второй странице крупный заголовок. Это было то самое, позавчерашнее. И подпись Шамковой стояла на первом месте... «А-а, мерзость, все-таки побоялась вымарать себя из списка», – удовлетворенно подумал Федор Иванович.

В то же утро, зайдя в ректорат, он перелистал лежавшую на столе секретарши книжечку. Это был еще один приказ министра Кафтанова. Книжка действительно была похожа на железнодорожное расписание. «Хейфеца Натана Михайловича», – прочитал он на последней странице. Перевернул несколько страниц назад и увидел: «Стригалева Ивана Ильича». Задумался, медленно краснея. «Неужели каждому, кто в этих списках, устраивали такой римский театр?» Тут же, взяв себя в руки, спросил:

– Когда это поступило?

– Из Москвы? Еще в четверг, по-моему, – спокойно, мимоходом бросила Раечка, занимаясь своими бумагами. – А от Петра Леонидовича сегодня утром.

– Значит, приказ был у него?

Секретарша пожала плечами.

«Задержал!» – он все же выстоял необходимые секунды показного равнодушия. Не ахнул, только опущенные веки дрогнули. Никак он не мог привыкнуть к таким открытиям. Молча положил приказ и вышел. «Четыре дня держал! Специально! – он качал головой, бредя по коридору. – Чтоб через массы провести! Чтоб они, а не Касьян... Касьяну это понравится...»

В полдень в кабинет заведующего кафедрой – теперь временный кабинет Федора Ивановича – вошел, постучавшись, уже знакомый высокий и жирноватый атлет со спортивной гибкостью в талии. Федор Иванович поднял на него от своих бумаг внимательные глаза. У этого Краснова были маленькие, как у античного борца, губки – твердым цветочком, лицо широкое, с желваками и жировыми шишечками. Ему следовало по замыслу природы быть тощим, поэтому нос его остался тонким и извилисто-остроконечным, а тонкие, почти бумажные уши были окружены припухлостью, сидели как в воронках. Лоб был маленький и сухой, в светлых волнистых волосах сильно просвечивала розовость будущей лысины. По правильности волн, косо набегающих одна за другой, Федор Иванович заподозрил завивку.

– Разрешите? – сказал Краснов и, придвинув стул, сел перед Федором Ивановичем. На груди его четырехкарманной куртки из мягкого синего вельвета был приколот альпинистский значок: снежная вершина Эльбруса на фоне голубого неба, а на переднем плане – ледоруб. Разведя широкие плечи, он полез в нагрудный карман и один за другим выложил на стол шесть маленьких бумажных пакетов. И замолчал загадочно, тиская в руке теннисный мяч.

– Что это? – спросил Федор Иванович, наблюдая этого человека. Отдаленный голос высылал из глубины предупреждающий туман, тихие наплывы неприязни.

– Семена, – Краснов уставил на него голубоватые девичьи глаза. – Стригалева в ящике оставил. Его полиплоиды.

– На что они нам?

– Все-таки выбрать можно что-то. Погибнет ведь материал.

– Так уродцы же. Воображаемые ценности. А бить только для того, чтоб ударить...

– Уродцы-то уродцы, – сказал Краснов и замялся. – Но я бы высеял. Что-то вырастет. Вон Богумиловна высеяла после облучения гамма-лучами... Наверняка будет сильно расшатанная основа... Если подвергнуть воспитанию, отобрать... Они, вейсманисты, сами могут не понимать...

Он подбрасывал маскировочку, хорошо подготовился. «Сказал бы: украдем, используем на паях», – подумал Федор Иванович, любуясь Красновым. И Краснов улыбнулся, приняв его кривую улыбку за признак взаимного понимания.

– Украдем? – Федор Иванович улыбнулся шире. Краснов потупился. – А если автор придет требовать?

– Если б было нужно, не разбрасывал бы по ящикам.

– Но мы не знаем, что это! Здесь какие-то цифры, буквы...

– Федор Иванович! Для чего работаем? Для цифр и букв? Для конечного ведь результата работаем! Оно само покажет. Если что есть.

– Л-ладно... – Федор Иванович смахнул все пакеты в ящик стола. – Я посмотрю.

И не отрывал взгляда от жировых подушечек, от значка. Из темного омута, который Варичев назвал коллективом, вынырнула еще одна сложная и опасная сущность...

– У меня в юности был хороший друг, добрейшая душа, – сказал Федор Иванович, глядя в ящик стола, шевеля пальцами пакеты. – Мы с ним всегда понимали друг друга. Бывало скажешь: слушай, Бревешков... А он уже знает, что я ему хочу...

По ту сторону стола все замерло. «Не поднимай глаз!» – закричал кто-то в душе Федора Ивановича. И, как в сказке Гоголя, он не устоял против нечистой силы, медленно поднял глаза, и ложка смертельного холода влилась в его душу из направленных на него нежных девичьих

глаз Краснова. Но такие вещи не способны были умертвить Федора Ивановича. Металл в нем затвердел, было мгновение, когда Краснов получил ответную стрелу, это уже была вторая.

– Скажите, вас знакомили с личными делами ваших будущих сотрудников? – спросил очень спокойно альпинист.

– Нет, с такими вещами меня еще не знакомили. Я ведь временно исполняю... – Тут Федор Иванович улыбнулся и, уйдя в прошлое, размякнув, покачал головой. – Хороший был товарищ. Гена Бревешков...

– Говорите, Гена?

– А что, вы его знали?

– Знал одного Бревешкова. Только с другим именем.

Краснов, видимо, почувствовал облегчение. Поднялся, в нерешительности покусывал губку.

– Посмотрите, Федор Иванович. Высеем в ящики. Может, что-нибудь...

И так же нерешительно, неопределенно вышел и прикрыл дверь.

«Хорошо действует», – подумал Федор Иванович. Он сейчас проверял действие своего ключа. Он давно уже знал, что зло в человеке осознает себя. «Тяжело так жить, осознавая, – подумал он. – Все время приходится гримасничать, подбирать выражение лица».

Он посидел некоторое время в одиночестве, двигая русой бровью, размышляя. «Нет, это существует! – подумал он, уже в который раз получив подтверждение. – Существует! Какая-то сила, от которой, видимо, никогда не избавиться тому, кем она овладела... Ну как, каким образом сделать этого Бревешкова добрым, чтобы не зарился на чужое, даже уступал свое? Нет, не сделать никому... Можно только связать, запереть в клетку. Или припугнуть... И отлично ведь знает, что плохо, а что хорошо. Чем замаскировался – конечно, добрым намерением! „Погибнет материал, спасать надо!“, „Для конечного результата работаем!“ Нет, существует это самое. Что-то».

В коридоре уже с минуту кто-то странно нутужно пыхтел. Послышался оскорбленный, профессорский голос Вонлярлярского:

– Это самоуправство! – выкрикнул он надтреснутым козлетоном. – Все равно, хоть и нет инвентаризационного значка... И вы не смеете, я все равно не отдам! – и он опять запыхтел.

Федор Иванович вылетел за дверь. Посреди коридора сцепились Вонлярлярский и Елена Владимировна, что-то дергали, тащили друг у друга из рук. Вспотевший Стефан Игнатьевич в белой сорочке, заправленной в кремовые брюки, и с бантиком на шее, крепко обнимал обеими руками черный прибор, похожий на пишущую машинку. Между его жилистыми и цепкими, желтыми с синевой руками скользили белые девичьи руки. Елена Владимировна решительно встряхивала старика, таскала его по коридору, отнимая у него прибор. Вокруг них бегала, вскидывая руки, но не решаясь налететь, Вонлярлярская.

– Ого! – смеясь, воскликнул Федор Иванович. – Помощь подоспела вовремя!

Все остановились. Каждый был уверен, что помощь пришла к нему.

– Этот микротом – Ивана Ильича! – сказала Елена Владимировна, переводя дыхание. – Они хотят забрать...

– Микроскопы и микротомы – имущество цитологической лаборатории! – Вонлярлярский выкатил глаза.

– Он сам его собрал, из деталей... Хотел унести домой... Просил... Это нечестно, Стефан Игнатьевич, человека и так...

– Зря, совершенно зря, Елена Владимировна, связываетесь с таким делом. Это же государственное имущество! Не понимаю, как вы собирались его выносить? Тайком? В такие дни...

– Никакого обмана, – наливаясь угрозой, забухала низким голосом Вонлярлярская. – Ни прямого, ни косвенного никогда и ни при каких обстоятельствах я не совершала и не позволю при мне... – и гордо отошла боком.

– Я, во всяком случае, патриот института. И к такому делу не прикоснусь даже в форме уступки вам...

Оба супруга поглядывали на Федора Ивановича. Они таким способом доносили ему на Елену Владимировну.

– Я вас не понял, – сказал Федор Иванович. И пока оба супруга мялись, набирая разгон для более точного доноса, он добавил: – Стефан Игнатьевич! Ведь вы сами, когда бежали с супругой по парку – помните? – и когда я вас догнал, как раз говорили об этом микротоме. Что вы говорили? Что он списанный, подобран на свалке, что Иван Ильич заказывал точить винт в Москве.

Вонлярляские посмотрели друг на друга.

– Ну? Ведь было это? Словом, я ничего не вижу, не слышу и не говорю. А микротом вы с Еленой Владимировной отнесите ко мне в кабинет. Я сам посмотрю и решу...

– Пусть несет сама. Она вон какая. Коня на ходу остановит...

– Дайте, тогда я сам. – И Федор Иванович, отобрав у них тяжелый микротом, смеясь и качая головой, понес его себе.

Елена Владимировна вошла за ним следом. Федор Иванович, поставив прибор на столе, подвигал кареткой, покрутил винт и поднял на нее глаза.

– Федор Иванович, это микротом Ивана Ильича...

– Я знаю, – ответил он.

– Вы позволите вынести? Надо как-то пропуск...

– Никаких пропусков, я вынесу сам – Федор Иванович сказал это негромко. – Принесите мне сумку или большой портфель. Вечером вы подойдете к этому окну. Тут клумба... И я вам подам. А потом выйду. И отнесем хозяину.

– А эти, незапятнанные? Они же шум поднимают...

– О чем? Какой может быть шум о том, чего не было? Ведь вещь нигде не значитя!

И опять пришел теплый душистый вечер. К концу дня Елена Владимировна принесла чей-то огромный брезентовый портфель с кожаными кантами, и Федор Иванович уложил в него прибор. Когда стемнело, он уселся у окна, не зажигая света. В открытое окно тянуло ночной, чуть пересушенной ароматной прохладой парка. Вдали скользили какие-то тени, исчезали в наплывающей тьме.

– Призадумались?.. – раздался около него тихий низкий голос Елены Владимировны. Она была у самого подоконника, как мальчишка, вскарабкалась на цоколь. Федор Иванович передал ей портфель и бесшумным гибким шагом заговорщика выскользнул на улицу, обежал вокруг корпуса.

Ее светло-серая тень ждала в сторонке. Елена Владимировна была в своем халатике. Федор Иванович взял у нее портфель, и они молча быстро зашагали к парку. Когда окунулись в черный дым ночи, уже окутавшей парк, Елена Владимировна взяла его под руку.

– Можно? Это я чтоб вы не потерялись. Не страшно вам?

– А почему должно быть...

– Вы разве не чувствуете, что на всех налетела какая-то...

– Ну, не на всех же она налетела.

– На хоздворе все еще жгут... Кто сжигает, все как-то молчат. Хейфец сказал: пламя того самого химического состава, что и пятьсот лет назад...

– Значит, не совсем того состава, раз не пляшут, а молчат.

– Федор Иванович, знаете, что скажу? Вы слишком афишируете свое отношение... Свою объективность. Вы – наш последний шанс. Вас нам надо беречь. Все и так уже знают, что одежды у вас белые. Их надо иногда в шкаф...

– В шкаф никак нельзя.

– Так накиньте сверху что-нибудь.

– По вашей завиральной теории?

– Ага...

– А не боитесь, что, когда придет время снять это что-нибудь, белых одежд там и не будет.

– В отношении вас не боюсь. Ведь вы же сами говорили нам про добро. И про зло. Вы сами сказали, что это качество намерений. А Вонлярлярский выразился: без-вари-антно. А вы еще добавили: его нельзя ни привить, ни отнять.

– Я тогда не все еще сказал, Елена Владимировна. Качество намерений – оно то возникает, то пропадет. Оно только когда возникают намерения. А самое первое, постоянное – такая в некоторых сидит сила. Только нельзя путать: это не гнев вспыльчивого, нервного человека. Вон наша тетя Поля, уборщица. Знаете, что сказала? Говорит, если кошка к тебе в кастрюлю забралась, и ты бьешь ее со сладостью, не можешь ты быть ни начальником, ни судьей. Но это – нервы, болезнь, это еще не зло. Зло кошку не бьет, а спокойно ее в мешок... Мы его можем чувствовать в себе, у кого есть. У кого его достаточно много. А вот понять, дать определение – никак не ухватишь. В нас много чего есть, чего сами не видим. А зло чувствуется, Елена Владимировна...

– Надо будет прислушаться...

Они пошли медленнее.

– Я вам помогу прислушаться. Вообразите такое: в печати появляется сенсационная статья. Ученые разных стран, не сговариваясь, открыли, что самая страшная болезнь века... Скажем, рак... возбуждается в человеке разрушительными эмоциями определенного толка. Эмоциями зла, умыслами причинить кому-нибудь страдание, отравить жизнь, подсидеть, обобрать... Вот Вонлярлярские, они ведь тихонько хотели ободрать Ивана Ильича. Небось, и обсудили все заранее между собой.

– Они давно на этот микротом посматривали...

– В общем, эти эмоции существуют, видимо, у всех. Но у одних чуть-чуть, и человек, осознав, краснеет. А у других определяют лицо, личность. Вот и представьте себе, что появилась такая статья, и по этой статье рак – регулирующая мера со стороны природы. Против угрожающего роста влияния тихих людей зла. Особенно сейчас, когда с религиями покончено. Почему, пишет эта – воображаемая – статья, почему совпадает рост заболеваний раком с убылью религий? Религии удерживали нас – страхом наказания. А сейчас, мол, другой фактор включился. Кто гибнет от рака? – задались ученые. И статистика показала: люди зла. Я не утверждаю, это я такой заход построил. Чтоб удобнее было, как вы говорите, прислушиваться к себе. Допустим, такая появилась статья, и факты ее, имена подписавших ученых – заставляют задуматься. Вопрос уже к вам. Как вы думаете, Елена Владимировна, прочитав это, не станут те, кто хочет жить, ловить себя на дурных, злых намерениях, подавлять их в себе – и притом без промаха? Не случайный гнев, не раздражение от усталости, а настоящую силу зла в себе начнут давить! И будут устанавливать в себе эту напасть с величайшей точностью! Без всякой аппаратуры!

– Я иногда чувствую что-то похожее, – сказала Елена Владимировна задумчиво. – Впрочем, чувствую или нет? В общем, чужого микротом я не желала никогда. Уж вам-то призналась бы. Нет, не желала. А если я что-нибудь по своей завиральной теории... Я не чувствую, ничего, кроме веселья, что мне удалось надуть злого человека. Но вы правы, Вонлярлярские метили на микротом. И им не было жаль Ивана Ильича...

– Я так много над этим думал, что мне хочется иной раз сесть и написать книгу. Я назвал бы ее – «Очки для близорукого добра». Есть у Соловьева «Оправдание добра». Но я не понимаю этого заголовка. Добро в оправдании не нуждается. Его не обвиняют, а бьют, над ним издеваются, к чему оно само, правда, иногда дает повод. Вот добро гонится за злом, совершившим преступление. На пути газон с надписью: «ходить по траве воспрещено». Зло, не задумываясь, бросается через газон. А добро, даже не читая, пускается в обход: нельзя мять траву. И упускает преступника. Добро, Елена Владимировна, сегодня для многих звучит как трусость,

вялость, нерешительность, подлое уклонение от обязывающих шагов. Но конечно, все далеко не так. Далеко, далеко не так. Это все – путаница, накрученная тихим злом, чтоб легче было действовать. И ее надо распутать, путаницу.

– Подождите. А если добро бросится через газон и ошибется?

– Мне лучше пострадать от ошибки доброго человека, чем от безошибочного коварства. Настоящий-то добрый осудит, а потом и маяться будет, страдать. Пересмотрит приговор пять раз.

– А вы ведь смыкаетесь с моей завиральной теорией! Хотите, расскажу, как я недавно применила ее на практике?

Парк начал светлеть, в лицо пахнуло теплым осенним полевым духом. Они вышли на простор, как в громадный, тихо и ровно гудящий цех.

– Как сверчки сегодня распелись, – сказала Елена Владимировна. – Может, это у них последняя ночь... Вы не боитесь, что это последняя ночь?

– Я вас не понимаю, – Федор Иванович прижал локтем ее руку.

– Ладно, я сейчас доскажу, мне хочется. Полгода назад я получила пакет. И в этом пакете письмо, а в нем такие важные слова. Высшая аттестационная комиссия извещает, что я лишена кандидатской степени. Ввиду ложности посылок, слабого фундамента, недостаточной разработки, шаткости базы и так далее. Через две недели еще пакет – Иван Ильич получает. И его лишают докторской степени. Такие же доводы. Оба мы получаем, каждый – в свой день рождения! Сволочи – они могут и врать и пакостить. Им все можно! И рак их не берет! Я поехала однажды в Москву и думаю – зайду-ка я в этот ВАК! Захожу. Туда, где хранятся диссертационные дела. Две старушки эти дела хранят. Я начальственным тоном: «Дайте мне папку с таким-то делом». Старушка топ-топ-топ, и смотрю – несет мое дело! Я сразу ищу мотив лишения: как ученица такого-то и таких-то вейсманистов-морганистов, преданных проклятию. Успела сделать выписку. Теперь, говорю, давайте дело Стригалева. Топ-топ-топ – принесли и эту папку. Только пристроилась листать, пришло начальство и меня выгнали. Так что вот... Я нарушила норму.

Они некоторое время шли молча.

– Вот мы говорили с вами... Как же не врать? – Во тьме он увидел, как блеснули ее очки – Елена Владимировна заглянула ему в лицо. – Как же не врать, Федор Иванович! Это же особого рода вранье! Я же оберегаю дело! Если откроют – они все уничтожат и примутся за людей. Я даже не чувствую, что вру...

– В вашем вранье нет кривды. Хорошее слово – кривда.

– Вы думаете, я одна так? У вас, в роде Монтекки, тоже ничего не поймешь. Два года назад – как раз у меня в плане стояло: «Полиплоидия». Еще открыто стояло... И приезжает от вас один доктор. От вашего Касьяна. Я – аспирантка у Посошкова, он мне поручил сравнение прививок и полиплоидов на картофеле. Господи, тогда еще можно было сравнивать! У меня как раз были получены первые удачные результаты с колхицином. Посошков говорит: «Покажите ваши картошки москвичу». Приходит этот доктор ко мне на участок – смотреть. Я говорю, какие растения где. Доктор:

«Да, у вас интересные прививки». Я: «Это же полиплоиды, а не прививки!» Он даже повернулся к растениям спиной: «У вас легкая рука, никогда не видел такого срастания подвоя с привоем». Три раза я заикалась и три раза он повторял свое. Подруга потом мне говорит: «Какой-то прямо ненормальный!» А Посошков вечером разъяснил: «Сейчас, детка, такие времена приближаются. Он вам не доверяет». Вот оно как... Еще два года назад!

Они шли, а в стороне от тропки тянулось что-то темное, похожее на плотный забор. Тропа постепенно подводила их туда, все ближе.

– Вот сюда, – сказала Елена Владимировна и потащила Федора Ивановича к этой протянутой над землей, дышащей теплом темноте. – Сюда идемте, здесь проход. Разрыв...

– Что это?

– Труба. Железная труба.

– Труба, говорите?.. – Федор Иванович протянул руку, коснулся теплой, покато́й поверхности. – Труба. – повторил он.

– Они тут проводят что-то. Для воды, наверно, – тихо сказала Елена Владимировна. – Недавно привезли.

Они вошли в широкий разрыв между концами труб. Федор Иванович нащупал край. Труба была широкая – доставала почти до плеч.

– Вот и железная труба... Знаете, Елена Владимировна, Цвях мне как-то говорил, что многих из нас ждет своя железная труба. Попадешь в нее – выхода только два: вперед или назад. Компромиссных решений нет...

Он поставил ногу в темную пустоту, в теплый поющий туннель. Наклонившись, сунул туда голову. Хотел крикнуть что-то дерзкое, но почему-то голос подвел его, сорвался.

– Эй, судьба! – негромко сказал он и ударил кулаком по округлой стенке.

– Бу-бу-бу! – ответил, вибрируя, растревоженный железный хор, и хотя Федор Иванович был начитанным и ученым человеком, способным глядеть в глаза вещам, что-то вроде страха задержало его дыхание.

– Вы очень страшно это сказали, – шепнула около него Елена Владимировна. – Ну-ка, пустите, я тоже хочу крикнуть. – Она оказалась около него в трубе. – Подвиньтесь же, нам здесь обоим места хватит. – Она почти не пригibasь, даже прошла вглубь и там хихикнула. – Чувствуете, как странно я сказала? Нам обоим места хватит! Какая аллегория! Не думаете вы, что нас обоих ждет такая труба? Общая – на двоих...

– Елена Владимировна, мне это иногда так и кажется. Я чувствую, что обстоятельства тащат меня именно сюда. Сам Касьян толкает. Я ведь сегодня должен был уже четвертый день быть в Москве. Уже и командировку отметил.

– А как же наши мушки?

– Обсуждался вопрос. Выпустить их или взять с собой.

– И вы...

– Я предлагал выпустить. Цвях хотел увезти в Москву. Теперь вопрос снят.

– Вот видите, как вы легко... Не закончив эксперимента. Родителей-то пора удалить из пробирки. Не забыли?

– Уже удалил...

– Смотрите. У вас должно получиться менделевское – один к трем.

Они опять медленно шли в ногу по белеющей тропе. Елена Владимировна неуверенно держала его под руку.

– Вот здесь, – вдруг негромко сказала она, – здесь мы с вами расстанемся. – И засмеялась. – Идите дальше сам.

Близко, прямо перед ними желто и мирно светилось небольшое окно деревенского дома.

– Тропа приведет вас к калитке. Справа будет кнопка. Нажмите, и он вас впустит.

– А вы не боитесь идти так домой? Или еще куда...

– Нет, мне близко. И не говорите, что это я проводила вас.

– Я больше не задаю вам вопросов. Я уже привык к таким вашим... поворотам.

– Может быть, когда-нибудь и объясню... Может быть, и скоро. Может быть, и совсем никогда... – она говорила с задумчивыми паузами. – Не пришло еще время. Как вы говорите, нет достоверных и достаточных...

И Федор Иванович сквозь мрак почувствовал – она, говоря это, поворачивалась на одной ноге, писала в пространстве какие-то свои знаки. Был бы день – можно было бы прочитать.

– Объясню когда-нибудь, – сказала она, ударяя кулачком по его руке.

– Идите, больше ничего не буду спрашивать. Если что – орите погромче...

Она, смеясь, провела рукой по всей его руке – от плеча до пальцев. И исчезла.

А он, постояв, послушав ночь, сделал пять твердых шагов к желтому окну и нажал кнопку. Почти сразу над ним загорелась электрическая лампочка. Что-то деревянно стукнуло в глубине двора, слышались шаги.

– Вот кто пожаловал! – раздался за калиткой приветливый, почти радостный гудящий голос. Калитка, скрипнув, отошла.

– Я тут принес вам... – заговорил Федор Иванович, проходя во двор. – Принес вот. Отбили с Еленой Владимировной у Вонлярлярских... Микротом ваш.

Он прошел вслед за вихрастым высоким хозяином в сени, а потом и в ярко освещенную горницу. Здесь под самодельным абажуром из ватмана висела мощная лампочка почти белого каления. Под нею на столе поблескивал латунными деталями микроскоп, произведенный в прошлом веке где-нибудь в Германии. Около микроскопа в длинном ящичке зеленели края предметных стекол с препаратами, рядом лежала раскрытая тетрадка. Стригалева молча достал из портфеля свой микротом и с жадной поспешностью унес его за печь. Когда вернулся, на столе возле микроскопа его ждали шесть пакетиков с семенами, разложенные в ряд Федором Ивановичем.

– Это что еще? Тоже вы принесли?

– Один мой... соратник у вас украл. Говорит, если бы были вам нужны, вы бы не разбрасывали их по ящикам своего стола...

Стригалева поднял толстые брови, наставил ухо. Ждал объяснений.

– Говорит, у вас, вейсманистов-морганистов, все равно пропадет. А мы, может, что-нибудь и отберем.

– Для академика вашего? – сказал Стригалева и замолчал, переводя ставший диковатым взгляд с одного предмета на другой. – Знаете, что? Вы возьмите-ка эти семена... Отнесите к себе и пустите в дело. Как будто мне и не показывали.

– Не понимаю... Вы, наверно, не так поняли, что я говорил.

– Да нет, все понял. Унесите их. Чтоб этот ваш... соратник не догадался, что вы их мне. Пусть лежат в шкафу. Я знаю все про эти семена. В марте высеете. А человека мы тихонько перетащим к себе. Человек загорелся. Пусть получает свой краденый результат. Он-то будет знать, как гибрид получен.

– Это же ваш...

– У меня их... – Иван Ильич махнул рукой на картотечный шкафчик под стеной. – Хватит на три института. Человек дороже.

И они замолчали. Как бы вспомнив что-то, Стригалева вдруг опять уставил на гостя диковатый, отчаянно-веселый взгляд.

– Вы в микроскоп когда-нибудь смотрели?

Во взгляде Федора Ивановича появилась холодная благосклонность.

– В такой, как этот, нет.

– Давайте посмотрим в этот. У меня как раз есть хорошие препараты. Для вас специально подобрал.

– Вы знали, что я иду к вам?

– Знал, конечно. Даже ждал. Взгляните, взгляните...

Федор Иванович подсел к столу, склонился над микроскопом. Сначала в окуляре перед ним все было мутно, плавала какая-то мыльная вода, пронзенная ярким светом. Он повернул винт, и из яркого тумана выплыл к нему неровный кружок с черными чайнками, сгруппированными в центре.

– Я вижу... Здесь, по-моему, хромосомы... Хорошо окрашен препарат.

– Узнал-таки, – прогудел Стригалева.

– Тут так хорошо видно, что их можно сосчитать. Которая подковкой, которая с перехватом. Шесть, семь...

– Не трудитесь. Всех сорок восемь...

Стригалева куда-то гнул, что-то затеял. Федор Иванович оглянулся на него, задержался на миг и опять припал к окуляру.

– Чайку-то хотите?

– Чайку отчего не выпить. А что это за объект?

– Какой еще у меня может быть объект? Картошка. «Солянум туберозум». Теперь посмотрите это...

Стригалева цепкими длинными пальцами выхватил из-под объектива стеклышко и поставил другое. Федор Иванович опять увидел в окуляре пронзенную ярким светом клетку. Только в хромосомах произошла чуть заметная перемена. Они были здесь чуть меньше.

– Вроде хромосомы слегка похудели. Что это?

– Ага, заметили разницу... Это та же картошка, только препарат сделан при температуре плюс один градус. Это граница. Если понизить еще на градус, начнут распадаться.

– Понимаю...

– Нет, еще ничего не понимаете. Вот сюда теперь смотрите.

Иван Ильич опять мгновенно сменил стеклышко. И Федор Иванович увидел такую же клетку, только хромосомы здесь были похожи на мелкую охотничью дробь.

– Ого! Такого еще не видел. Что с ними случилось? – спросил он, загораюсь новым интересом.

– Это другой объект. «Солянум веррукозум», дикарь. При той же температуре в один градус. Видите, хромосомы здесь сжались до шариков... Когда я их в холодильник. А были ведь как и те, первые. Теперь главный номер.

Стригалева щелкнул новым стеклышком. Опять ярко засияла клетка. И в центре Федор Иванович увидел хромосомы. Такие же, как у обычной картошки – подковки и палочки с перехватом. Но среди них теперь были разбросаны и круглые дробинки.

– А это какой объект?

– Посмотрите. Там наклейка на стекле.

Федор Иванович мгновенно нашел эту наклейку. И прочитал: «Майский цветок», «1Ш».

– Все загадки задаете... Почему здесь такая смесь?

– Вы что – никогда «Майский цветок» не изучали? Я думал, что его всесторонне и в обязательном порядке...

– Я вообще к микроскопу давно...

– Хоть помните, сколько в нем хромосом?

– Ну уж... Сорок восемь, как у всех картошек.

– Смотрите-ка, а правая рука академика что-то знает!

– Ладно, ладно. Почему здесь такая странная смесь?

– «Майский цветок» – сверхособый гибрид. Об этом ваш Касьян, его автор, еще не слышал. Этого я ему не сказал. Увидите – спросите. Видите – шарики? Это хромосомы папы. А папа – дикарь, «Солянум веррукозум», которого вы сейчас смотрели, перед этим...

– Но ведь этот дикарь не скрещивается!

– Ничего еще не понял! – зазвенел над ухом Федора Ивановича отчаянный крик Стригалева. И одновременно ударил его и сотряс страшный разряд догадки. Федор Иванович обеими руками отодвинул микроскоп. Повернулся, взъерошенный.

– Погодите отодвигать. Сейчас я еще стеклышко...

– Хватит стеклышек. Разговаривать пора. Вы что хотите сказать...

– Ничего не хочу, вы сами скажете.

– Выходит, «Цветок» – гибрид с этим дикарем?

– Правильно. А дикарь не скрещивается. Только если сделать из него немыслимый для вашей кухни полиплоид. Вот я его и сделал. Колхицином, колхицином! А этот узнал...

– Кто?

– Вот этот, – Стригалева зажал нос двумя пальцами и продудел: – Кассиан Дамианович!

– Так он у вас этот полиплоид...

– Если бы только! – Стригалева засмеялся, поморщился, и выбежал за печь. – Если бы только! – не то кричал он, не то плакал за печью, что-то глотая, наверно, свои сливки из бутылочки. – Если бы только, Федор Ива-анович! – Он появился, вытирая рукой губы. – У вашего бога руки не такие, чтобы картошку даже с готовым полиплоидом скрестить. Народный академик получил от меня готовый сорт!

Федор Иванович положил на предметный столик микроскопа препарат «Майского цветка» и приник к окуляру, крутя винт.

– Почему я сейчас не капитулирую? – настойчиво гудел над ним Стригалева. – Почему, как Посошков, не отрекаюсь от святыни? Вы же видите, я устал, болею, я бы так охотно сложил ручки. Черт с вами, пусть будет как вы хотите, все, что у меня получено, сделано по Лысенко да по Касьяну Рядно. Но, во-первых, это же касается не только меня. Это их усилит, и тогда они примутся за моих товарищей. Помните, как они нашего... Академика нашего в саратовскую тюрьму? Они пощады не знают. А во-вторых, если бы я и перевернулся вверх пуговками... Ведь вы же видите, я уже один раз это сделал! Я же отдал им лучшую свою работу! Я страшно усилил их!

Да, «Майский цветок», сорт, который прославил академика Рядно, попал в учебники и газеты, – это была огромная сила. Федор Иванович, меняя препараты, рассматривал клетку этого сорта и клетку дикаря.

– Это была цена, которую я заплатил за три года относительно спокойной работы. Пришел с войны, кинулся на любимое дело... Я пошел на это, потому что «Цветок» у меня был промежуточным достижением, если можно так сказать. Правда, я не должен был нападать на их знамя, и я долго придерживался... Он сказал: «Слушай, Троллейбус... Ладно, хватит тебе... Давай, поговорим. Дай мне, браток, вот эту картошку, я давно завидую на нее...» И оскалился вот так. Как енот.

Тут на лице Стригалева проглянула и исчезла улыбка академика Рядно.

– Он ее, конечно, «доводил». «Воспитывал»... А сорт-то был готовый. Касьян уговорных четырех лет не выдержал – через два приехал. Дай опять. Я дал. Но у него не пошло – руки не те. Озлился. Вас ориентировали на Троллейбуса?

– Да, – шепнул Федор Иванович. – Он так говорил: какого-то Троллейбуса. Я подумал, что он с вами совсем не знаком.

– Вот то-то. Незнаком... Раз уж Троллейбуса перестал знать, теперь и вверх брюхом перевернусь – не поможет. Волей судьбы я вышел на передний край. Придется мне, Федор Иванович, идти избранной дорогой. До конца.

Он замолчал, сидел, отдыхая. Федор Иванович развернулся на стуле к хозяину, и они долго смотрели друг другу в глаза и время от времени кивком показывали: вот так-то...

– «Майский цветок», Федор Иванович, – результат торговой сделки и моего мягкосердечия. Моей наивности. Касьян наобещал правительству, а выполнить не мог. Кинулся ко мне. Я сильно тогда выручил его. В чем моя ошибка и беда. А то бы он погорел. Он говорил: «Прикрою от Трофима». И верно, прикрыл. Но что это все значит? Я вас спрашиваю, что?

Федор Иванович убито кивнул. Он уже понимал, что это значит.

– Значит, Рядно знал, знал! Знал цену себе и своей науке. Знал цену и нашей. Он, Федор Иванович, вредитель! По тридцатым годам чистый враг народа! А он в президиумах! В газетах!

Стригалева вышел за печь и принес алюминиевый чайник.

– А теперь опять у них прорыв... Да плюс к этому разведка донесла, что я, Троллейбус, готовлю новый сорт. Превосходящий «Майский цветок». Им ведь будет худо, а? Вот и решили начать с ревизии, прислали кого поумнее, да потоньше. И письмо организовали. А детки – подписали. Пришьют теперь что-нибудь, и хорошо пришьют. Портных сколько угодно...

Он опять ушел за печь. Принес коробку кускового сахара и печенье. Остановился у стола – высокий, почти касаясь головой закопченного деревянного потолка.

– Теперь моя лаборатория здесь. Лаборатория и крепость. Дом продам, куплю ворота, буду запираюсь... Слава богу, дом купить вовремя догадался. Хороший дом, – при этом он легонько ударил кулаком по матице низкого потолка. – Послужи, послужи, частная собственность, делу социализма... Как социалистическая служит... отращиванию загривка товарища Варичева...

Он поставил два тонких стакана в мельхиоровые витиеватые подстаканники и стал наливать в них кипяток.

– Сейчас загадаем, – сказал он, наклоняя чайник над своим стаканом. – Загадаем так: если лопнет, значит, женюсь в эту зиму. И вас на свадьбу. Не лопнет, сволочь. Нарочно ведь лью свежий кипяток.

Стакан почти неслышно треснул, и кипяток черной дымящейся змеей скользнул по столу, свинцово задолбил об пол.

– И-их-ма! Треснул! – горько потрянув нечесанными лохмами, Стригалева вынул осколки из подстаканника. Ясно улыбнулся. – Гаданье, Федор Иванович! Кофейная гуща! Проворонил я свои сроки. Так и не успел жениться. Сплошные неудачи. Правда, для ученого, может быть, и удачи были. Но на личном фронте – сплошной прорыв. А сейчас как присмотрю среди дочерей человеческих жену – и язык тут же забываю, где у меня находится. Ничего не могу сказать. Наверно, чудачком слышу. А может, сухарем... Попал в желоб и качусь. И не выйти. Вы, я слышал, тоже холостяк?

Они пили чай и молчали. Слышно было только постукивание стальных зубов о край стакана. Федор Иванович со страхом ждал ясности, которая ему была нужна, как воздух. Эта ясность приближалась.

– Может быть, что и выйдет – одна тут появилась. Осветила... Собственно, была давно, но мы все официально с ней... А тут после этой парилки, где меня... Как-то сразу все прояснилось. Такой момент... Сама осторожненько дала понять.

Они замолчали. Стригалева ковырял ногтем клеенку на столе и наклонял лохматую голову то к одному плечу, то к другому. У него была потребность исповедаться.

– Простая такая девушка... Но такую простоту, как у нее, Федор Иванович, надо уметь носить... А я два года ничего не видел. Все хромосомы да колхицин.

И опять наступила тишина. Стригалева вдруг усмехнулся – над самим собой.

– Знаете, – как открыли ржавый замок. Физически почувствовал. Там, в замке, такие есть сувальды, самая секретная часть. Вот они и сдвинулись с места, и замок вроде отперся. Скрипу было! – и он доверчиво улыбнулся Федору Ивановичу. – Сдвинулись, и, должно быть, выглянуло что-то. Сразу у нас и контакт завязался...

Федор Иванович все это время жадно пил чай, пил, как живую воду, опустив глаза к своему стакану. Весь был напряжен, боялся взглянуть Стригалева в лицо. «Как это я сразу так увлекся, поверил? – думал он. – Ведь и Туманова предупреждала, да и видно было во всему...»

– Я ведь тоже чуть не стал образцовым мичуринцем, – сказал вдруг Иван Ильич. – В молодости тоже на него молился.

– На кого?

– На кого? – Стригалева опять сжал себе нос пальцами и загакал: – Вот на этого на самого.

Федор Иванович засмеялся.

– Чем же он вас очаровал?

– А чем вас?

– Ну – я! У меня был путь...

– Так и у меня был тот же путь! Страшные тридцатые годы. И странные! Одни отрекались от родителей, другие культивировали свой крестьянский, местный говор, свое неумение говорить... Все тот же был извечный маскарад. «А под маской было звездно, улыбалась чья-то повесть...» Я, как и вы, был тогда мальчишкой. Постарше, конечно, школу уже кончил. Отзывчиво реагировал на все, что относилось к воспетому, к советскому, коммунистическому. Особое было отношение ко всему, что шло из народа, от рабочих и крестьян. Интеллигенция – так, второй сорт, гниль. «Хлипкий интеллигент, скептик с дрожащими коленями», – это ведь слова Касьяна. Сильно дрожат у вас колени? По-моему, у такого не больно задрожат.

– Вы что имеете в виду?

– Только хорошее, Федор Иванович. Я вас понял с самого начала. Мы с вами во многом схожи.

Федор Иванович чуть заметно кивнул. Он как-то без слов вспомнил те свои времена, когда он ждал звездного часа, присягал правде и знанию, а шел куда-то в противоположную сторону.

– В общем, я был пареньком, хорошо подготовленным к восторгам. Науки еще не было. Наука была впереди. Ее обещали. Мы все верили: наука будет. Она придет из народа. Новая наука! И вот он появился, как Онегин перед Татьяной. «Вот он!» Я тогда еще не понимал великого значения косоворотки, пахнувших дегтем сапог, подшитых валенок и тому подобных примет простого человека. Это сегодня я знаю твердо, что если человек, придя в современную науку, слишком долго – десятки лет – не может овладеть грамотой и правильным русским произношением, – этот человек или страшная бездарь, или сволочь, притворщик, нарочно культивирующий свою пролетарскую простоту. С целью всех обобрать.

Федор Иванович вспомнил Цвяха и его иногда прорывающийся акцент. «Хороший мужик, – подумал он. – Но немного играет на своем „беритя“».

– Тогда я не понимал. Я молился на косоворотку и сапоги. И сам их носил. Галстук? Ни-ни-ни!

– Да, да, – поддакнул Федор Иванович. – Я тоже. Меня поразила в академике Рядно и ужасно привлекла его народная непосредственность, прямота. Такая самородность, неподражаемое своеобразие, возросшее, я бы сказал, на крестьянской ниве, на земле...

– Вот-вот! И был тогда академичек один, сейчас его уже нет. Уж он-то, можно сказать, революцию сам делал. Не от пустого кармана шел к Октябрю, не от стремления что-то от этого получить, а наоборот. Он был из семьи крупного ученого. Обеспеченная семья. Шел от желаний свое отдать другим. Что ни говорите, я таких, кто не берет, а отдает, не думая о своем будущем, уважаю. Академик этот шел от идеальных побуждений. Бантик, бантик красный по праздникам всегда носил. Все забыли уже надевать, а он все носил. И вот, дорвался – нашел самородок, полностью соответствующий идеалу. Стал нянчиться с ним, с этим, в валенках-то. С нашим Касьяном. С восторгом человека из народа повел в алтарь. А кукушонок рос не по дням, а по часам. И папочку своим крюком на заднице – швырь из гнезда. У кукушат такой крюк есть – выбрасывать из гнезда конкурентов. Тот и упал. Высоко падал. Спихнулся и к товарищу Сталину. А наш у Сталина уже чай пьет. Вприкусочку. Но тогда я всей этой истории еще не знал. Влюбился в него по уши. А он же еще и говорить мастак! С переливами! Да все словом революционным бьет. И держится за Красное знамя. Как в Риме Древнем хватались за рога жертвенника. Схватился – и его пальцем не тронь. Сам держится, а другим ухватиться не дает. Говорит: не примазывайся! Тут и Саул при нем появился. Подсказчик. При Сауле он и начал кидаться словечками: «отрицание отрицания», «скачкообразно», «единство противоположностей». И обещания правительству. В два года дам новый сорт! Засыплю страну хлебом!

Залью молоком! И все о земле-матушке. Любил научные сессии выносить в поле, чтоб профессора прямо на земле сидели... На этих конях и въехал в доверие. Но я уже к критике перешел. Сначала о том, как любовь кончилась. Она быстро прогорела. Сильная любовь не терпит обмана. Был я в одной аудитории, слушал Касьяна. Он тогда еще не был Кассиан. Конечно, вышел в сапогах, в косоворотке, глаза играют, зубы, как гармонь, – прямо тракторист. Ну, прослушали мы весь его репертуар. Народу битком, овации. А назавтра мне повезло, увидел его случайно на одной даче. Костюм, отрывок прошлого – галстук. Умел, оказывается, и галстук завязать. Зубы свои спрятал. И речь, речь! Совсем другая речь! И вдруг узнаю, что никакой он не бедняк был, отец у него был «грамотный зажиточный крестьянин», имел паровую молотилку. Для меня, Федор Иванович, это было первое научное открытие. Я увидел, что человек сам может создавать в себе «народный тип». Так что он сам помог... И ведь эта «мужиковатость» на людях в нем не убывает. Растет с каждым годом. По-моему, он стал большим филологом-фольклористом. Как Даль.

– А я вот задержался, – сказал Федор Иванович. – Я почти до сегодняшнего дня... Если бы анализировал – давно увидел бы истину. В том-то и дело, Иван Ильич. Не анализировал. Не приучен был к анализу. Вера, вера! Не анализировал, а теперь вижу – подгонял результаты под концепцию. Десять лет подгонки! Помню случаи, когда не получалось и из-под неуклюжей конструкции выглядывали белые нитки. Истина. Так я пугался! Не советское выглядывало, не наше. Чуждое, монах Мендель.

– И впадал в политический уклон!

– Впадал!

– Кто своими руками не делал расщепление «три к одному», тому легко было впадать...

– И я впадал. И еще больше громоздил, дикость на дикость. А когда получалось – вроде бы опыт в концепцию укладывался – тут поражался.

– Значит, неверие все-таки сидело...

– Сидело, Иван Ильич. Чувствовал, что под поверхностью совсем другая рыба ходит. Еще как сидело! Но я его давил. Как у одного французского писателя в рассказе, читал я. Там к священнику привели слепого и попросили исцелить. «Ты известен набожностью – возложи руки и помолись погорячей, – мать просит, – может, и исцелится». Упирался, упирался, а потом все-таки возложил и начал молиться. Никогда так горячо не молился. И слепой открыл глаза. «Вижу!» – говорит. А священник чуть с ума не сошел – не может быть! Невероятно! И бежать от сана. Отрекся. Неверие замучило – никогда, оказывается, не верил!

– Федор Иванович! – Стригалева положил на его руку свою сухую волосатую кисть. – Вы очень к месту это рассказали. В самую точку. В науке есть знающие ученые и есть такие вот священники. Неверящие, но делающие вид. По-моему, вы и сейчас...

Федор Иванович энергично закивал, замахал, почти закрывая ему рот рукой. И они долго, чуть слышно, радостно смеялись.

– Я теперь только начинаю становиться ученым, – сказал Федор Иванович, сделав унылую гримасу. – На са-амую первую ступеньку становлюсь. Где написано: никакой веры!

Когда он собрался уходить, Стригалева вынес ему из-за печки книжку. Знакомое название и чернильный штамп «не выдавать».

– Хотите заглянуть?

– Она у меня есть.

– Ага... Я предвижу, что вам, ставшему на эту первую ступеньку... не очень легко будет на вашей кафедре...

– Я не собираюсь начать службу задорным провозглашением с кафедры аксиом. Как Хейфец провозглашал. Пять минут яркой вспышки – и дымок. Последний... Что пользы?

– Не вспыхнете – будут думать, что вы инструмент Касьяна. Многие и так уже...

– Это хорошо. Я не обидчив.

Стригалева покосился глубоким бычьим глазом и промолчал.

– Иван Ильич! Что толку в бряцаниях и клятвах?

– Ну да, конечно... – просопел Стригалева. Он все еще изучал Федора Ивановича.

– Принес вам машину – вот и хорошо. А там посмотрим. Мы беседуем, достигаем внутреннего совершенства, но дело-то не в этом. Касьян, наверно, сейчас пьет свой чаек...

– Ну да, ну да... Спасибо. Заходите.

Домой Федор Иванович шел, не замечая своего движения. Механика его тела самостоятельно и точно следовала изгибам чуть белеющей тропки. Он не видел во мраке ничего от своей земной формы, не видел своих рук, и сам себе казался в эти минуты сущностью, освобожденной от внешней оболочки и способной летать. В этом сгустке энергии, скользящем сквозь теплую душистую тьму, происходил хоть и резкий, но хорошо подготовленный решающий поворот. Федор Иванович давно предчувствовал его и боялся, а встретил сейчас с радостью. Долгие годы в его душе копились достаточные и достоверные данные, пока не наступила эта ночь последних открытий. Мгновенно исчезли все оттенки симпатии к добродушному и покладистому старику, который иногда, совсем недавно, казался ему отцом. И сущность этого старика сейчас же подступила к нему из тьмы и полетела рядом, противно глотая чай и постукивая золотыми кутнями, как конь постукивает стальным мундштуком. А с другой стороны подошла, увязалась, не отводя хмурого взора, другая сущность – лохматый, уверенный в чем-то своем и настойчивый Стригалева. А вдали еще кто-то летел, неотступный, ожидающий своего. И Федор Иванович летел вместе с ними, все острее чувствуя кровоточащую царапину долга – старого и нового. Пока вдали не забрезжил желтоватый огонек и не приблизился, став лампочкой перед входом в жилище приезжающих. Когда эта ясность вступила в сознание, образ старика отстал и исчез. И остальные двое остались где-то позади. Федор Иванович услышал свои шаги на каменном крыльце и, твердо, с удовольствием топая, новым человеком вошел в коридор.

В комнате, которую теперь занимал он один, Федор Иванович зажег настольную лампу и, взяв с окна, поставил к ней литровый химический стакан, суживающийся кверху и заткнутый комом ваты. И уселся перед ним, наблюдая. Дней пять назад он выпустил из пробирки всех своих мушек. На дне остался кисель, в нем кишели проворные белые червячки. Кисель с личинками он вытряхнул на дно этого стакана и заткнул его ватой. Сегодня стакан был населен новыми мушками. Это пошло уже первое поколение – эф-один, как говорят генетики. Женственные самки, возбужденно приподнимая крылышки, бегали по стенкам стакана, показывали и убирала яйцеклад, привлекая поджарых самцов. Те цепенели неподвижно в разных концах стакана, припав грудью к стеклу и приподняв тощий зад – как сверхсовременные истребители на старте. То один, то другой, вдруг молниеносно прыгнув, оседлывал самку. Только что вышедшие из куколок длинные бледно-зеленые и прозрачные девственницы словно заснули около киселя, полные идеалистических бредней. Не постигнув еще своего предназначения, они и не помышляли о том, что завтра, изменив цвет и укоротившись, будут бегать, взмахивая крылышками и выставя яйцеклад. И все это было – жизнь, но жизнь малая – без героев и негодяев, которые делают ее богаче, отклоняют от механической животной программы.

Все мушки первого поколения были с крылышками. Бескрылость исчезла, и это уже было первым подтверждением правоты того, что писал в своей книге Добржанский, что открыл монах Мендель. И, глядя на мушек, Федор Иванович уже чувствовал, что классическое соотношение «один к трем» во втором поколении обязательно получится.

VII

Последующая неделя в жизни Федора Ивановича и в делах факультета не принесла ничего примечательного. Волна, поднятая августовской сессией академии, кипя, прикатила в город и бухнула в стены Сельскохозяйственного института, подняв целую тучу медленно оседающих брызг. Потом отхлынула, опять поднялась, на ней опять закипел гребешок страстей множества заинтересованных личностей – подлецов и героев – и все это, нарастая, покатило в другие города. А здесь, среди разрушений, потекли тихие будни. Костер на хоздворе погас, и три дня лаборантки ходили туда с ведрами за золой для удобрения – пока не подчистили все. Из Москвы был прислан новый доцент и сразу же начал бойко читать курс лекций по мичуринской генетике, усердно кость при этом вейсманистов-морганистов, как проводников буржуазной идеологии в биологии. И Федор Иванович, который так боялся необходимости читать лекции на этой кафедре, вздохнул. «Я, сынок, решил не загружать тебя лекциями, – сказал по телефону академик Рядно, не спускавший глаз с Федора Ивановича и знавший все. – Ты давай, готовься к делу, которое я на тебя возложу. Наследство Троллейбуса пока не разбазаривай, все возьми на учет. Все мне расшифруй, что он там... закодировал. Что не кончили из своей менделевской галиматый, пусть кончают, не мешай. Пусть вся эта братия спокойно работает. Пока. Я тут пробиваю одну идею, и ты займешь достойное место в этом плане».

И Федор Иванович сразу же собрал всех, кого он проверял во время ревизии, и серьезным тоном предложил сохранить все растения, независимо от целей и надежд, связанных с их появлением на свет. В том числе и «наследство» Ивана Ильича. Продолжать тщательные записи, собирать семена и клубни, довести до конца все исследования в соответствии с планами, в том числе и с планами, признанными порочными.

Во время этого совещания он старался не замечать спокойного, вникающего и несколько удивленного взгляда через очки, направленного на него из дальнего угла. Больше посматривал на Краснова, который мял в пальцах теннисный мяч.

Когда все разошлись, Федор Иванович вспомнил нечто, прошел в комнату Ходеряхина и Краснова. Альпинист отсутствовал, и, подсев к его столу, Федор Иванович в ожидании рассеянно поглядывал на бумажки, положенные под стекло. Там были выписки из справочника по картофелю, вырезка из газеты с футбольной таблицей и страница, на которой можно было прочесть следующие строки, напечатанные на машинке:

«б. Напрячь мышцы брюшного пресса и ослабить – 30 раз. в. Сжать до предела ягодичные мышцы и ослабить – 30 раз. г. Втянуть до предела прямую кишку и отпустить – 30 раз».

Рассмеявшись, Федор Иванович поскорее встал из-за стола – он щадил стыдливость Краснова. А тут как раз спортсмен и вошел.

– Я к вам, – сказал Федор Иванович, гася улыбку и выкладывая на стол шесть пакетиков. Понизив голос почти до шепота, он добавил: – Я согласен, не следует разбрасываться такими вещами. И академик не рекомендует...

– Не имеем права! – подхватил Краснов и, усевшись за стол, смахнул в ящик все пакетики.

– Вас, кажется, зовут Ким? – вдруг спросил Федор Иванович, задумчиво глядя на него.

– Ким Савельевич.

– Ким Савельевич! Я исхожу из того, что там случайно может оказаться и ценный материал...

– Пусть даже один случай на миллион – мы не можем сбрасывать со счета.

Федор Иванович приостановился. Его ключ действовал безошибочно. Зло, отлично знающее свою суть, как всегда маскировалось добрыми намерениями. Он изучал Краснова некоторое время, но тот ничего не заметил. Хотя нет, что-то почувствовал:

– Вы покраснели, Федор Иванович. Не беспокойтесь, я их сейчас же положу в хорошее местечко и заведу специальный журнал.

– На всякий случай, если бы он пришел за ними...

– Отошлите его ко мне. Вам незачем связываться. Скажите, я говорил вам о каких-то пакетиках. А я найду, что сказать.

– Да нет. Я ему уже сказал... прямо сказал, что мы нашли...

– Ну, тогда-а... – протянул Краснов разочарованно. – Тогда что ж...

– Ничего страшного! Мы с ним условились, что семена останутся на нашей кафедре, в лаборатории. Это я вам на всякий случай, чтобы вы знали. Если придется говорить. Мы их высеем, в порядке проверки. Нам ведь не все нужно, что взойдет...

– Так, пожалуй, будет еще лучше! Я буду у вас самым исполнительным лаборантом.

– Значит, вы сделаете все, как говорили. Будем вместе наблюдать,

– Я уверен, мы достигнем результатов. При таком единстве взглядов...

– Похожем на соучастие, – вставил Федор Иванович, хихикнув.

Краснов пожал плечами.

– Ничего похожего! Казнить из-за таких пустяков... Если я правильно понял... Помоему, не стоит. Он совсем не замечал, что его исследуют.

– Интересно, – сказал Федор Иванович задумчиво. – Люди, у которых дурная болезнь... Скрывают они друг от друга в диспансере свои язвы?

– Этот объект не стоит такого глубокого анализа, – сказал Краснов. И вдруг смутился. Что-то дошло. – А кто в наше время без какой-нибудь язвы?

– Это верно, – сказал Федор Иванович, глядя на него, не сводя глаз. – Это верно.

– Именно, Федор Иванович! Люди это люди!

– Вглубь лучше не заглядывать, – подбросил ему Федор Иванович опору.

– Именно! – весело заревел Краснов и, став ниже ростом, разогретый хорошо проведенным важным разговором, поднялся его провожать, вышел в коридор.

«Надо отучиться краснеть», – подумал Федор Иванович.

...В розовой лужице киселя на дне химического стакана опять завелись энергичные и ловкие белые червячки. Кисель бурлил и кипел от множества пронизывающих его жизней. Несколько коричневых куколок приклеились к стенке стакана и замерли. Однажды на рассвете Федор Иванович вынес стакан на улицу и опять выпустил всех мушек. Теперь в стеклянном конусе, заткнутом ватой, окончательно созрел факт, такой же неоспоримый, как превращение капли йода на картошке в синюю кляксу.

Еще через семь или восемь дней, утром, собираясь в институт, Федор Иванович заметил в стакане движение. Там уже кружились и прыгали пять или шесть мушек – второе поколение. А на дне среди бледно-зеленых девственниц беспокойно бегали два бескрылых существа: пробежка – скачок, пробежка – скачок... Они пытались взлететь.

«Надо сказать ей», – подумал Федор Иванович. Он понимал, что там все решено, и вмешиваться в чужие отношения на правах третьего лица – дело безнадежное и даже не совсем достойное. Но ему хотелось услышать ее голос, обращенный к нему. «Я ничем себя не выдам, буду спокоен и безразличен. Все-таки речь идет о направлении в науке. Это будет вполне приличный, легальный повод».

Придя в институт пораньше, он сел в своем кабинете у окна и, чувствуя частые, сильные удары сердца как будто выпил несколько чашек крепкого кофе, минут двадцать следил за асфальтовой дорожкой, ведущей к входу. Прошли, беседуя, Анна Богумиловна и Анжела. Прошел с портфелем новый – московский – доцент. С теннисным мячом в руке прошел Краснов, издали похожий на громоздкого, чуть сутулого первобытного человека, ищущего кореня. И вот показалась она – в знакомой вязаной кофточке, маленькая, полная тайн. Почти пробежала, о чем-то мечтая, влекомая какой-то манящей целью. И Федор Иванович, загремев

стулом, оставив распахнутой дверь, вылетел в коридор и там сразу принял независимый вид. Опустив голову, как бы размышляя о чем-то, он прошел половину коридора, и тут Елена Владимировна из-за угла налетела на него, толкнула обеими руками.

– Простите! – засмеялась виновато, а душа ее, ставшая чужой и небрежно-рассеянной, уже летела куда-то дальше.

– Я тоже виноват, – сказал он, умеренно улыбнувшись и уступая ей дорогу. Она так и ринулась бежать. Посмотрев ей вслед, он как бы вспомнил:

– Да, Елена Владимировна! У меня уже пошло третье поколение! Сегодня утром смотрю...

Она быстро обернулась.

– Тсс! – прошептала гневно. Вся сила у нее была в сдвинутых, не принимающих никакого компромисса бровях. Потом подошла совсем близко.

– С ума сошли! – низко прогудела. – Гаркает на весь институт. Вы же скрытый вейсма-нист! – и умолкла, глядя по сторонам. На чистом лбу был виден прекрасный гнев. Этот чистый лоб умел командовать.

Потом она успокоилась и посмотрела со вспыхнувшим интересом. Интерес был не к нему, а к науке.

– Скоро будем считать. Завтра я возьму флакончик с эфиром и приду... Нет, лучше подождем еще денек. Где мы будем считать – у вас или у меня?

– Может, у меня удобнее?... – неуверенно спросил он.

– Хорошо. Значит, послезавтра. После работы ждите.

До назначенной встречи надо было ждать больше двух суток. До вечера Федор Иванович кое-как дотянул. Потом на него накатила тоска. В комнате для приезжающих было одиноко, и он позвонил Тумановой.

– Алло! – ответил ее полный гибкий голос. – Это ты-и? Ну, если тебе скучно, так приходи. Мне тоже скучно. Давай вместе выпьем вина.

– Какое вино ты пьешь?

– Я пью водочку. Без дураков. Бери пол-литра православной, не ошибешься.

Конечно, не только тоска и одиночество толкнули его на этот телефонный звонок. Идя к Тумановой со свертком в руке, он все отчетливее чувствовал, что там для него прояснится еще одна забавная и важная вещь. Впрочем, и без того уже почти ясная.

Антонина Прокофьевна ожидала его в своей постели, обложенная расшитыми подуш-ками, и по этим подушкам и кружевам ступенями струились ее черные волосы. Ветка ландыша была на месте, но желтого алмаза не было. Поцеловав хозяйку в щеку, он поднял глаза и уви-дел над нею на стене литографию в рамке. Там был изображен обнаженный человек, привя-занный к дереву и поднявший полные слез глаза к небу. Из тела торчали стрелы. Казнь проис-ходила на городской площади, на фоне пятиэтажных домов с арками.

– Я что-то не видел у тебя эту картину, – сказал он.

– У нее такое свойство. Кого это не касается, тот не видит. Пропускает. А теперь, видно, коснулось тебя, Федяка. Это святой Себастьян, тебе следует знать. Он был начальник телохра-нителей у императора Диоклетиана. Самый близкий человек. Царь-то был страшный гонитель христиан, но народа боялся. А полковник лейб-гвардии оказался тайным христианином, да еще и пропагандистом. Он сделал христианами и крестил около полутора тысяч придворных и солдат. Вот за это, когда дело открылось, когда какая-то сволочь донесла, Диоклетиан и велел привязать его к дереву и расстрелять тысячью стрел. Он тут и нарисован... Тициан тоже писал на этот сюжет.

– А это чье?

– Антонелло да Мессина такой. Моя любимая картина. Всех современников и всех потомков, и нас с тобой нарисовал. В самое нутро людей заглянул.

Федор Иванович вытянулся, чтобы получше рассмотреть картину.

– А ты сними. Разрешаю, – сказала Туманова. Только давай сначала выпьем. Раз затеяли это дело.

Во время их беседы две старухи в черном успели неслышно расположить на столе около кровати граненые стопки и закуску. Федор Иванович вышиб из бутылки белую пробку.

– По первой?

– Давай, Федяка. Давно хотела выпить с тобой. Только бабушкам сначала налей.

Обе старушки, стесняясь, подставили рюмки, и Федор Иванович – налил. Когда бабушки ушли, Туманова чокнулась с гостем и медленно выпила, а выпив, тяжело посмотрела ему в глаза, и он понял, что она заливала в себе какую-то боль, и залить не удалось.

– Хорошо пить с человеком, который понимает не только прямую речь, – сказала Туманова. – Ты сними картинку-то. Сейчас самое время ее рассматривать. Давай посмотрим вместе. Вот видишь, на переднем плане человек. Умирает. Не зря умирает, а за идею. А все равно тяжело. А сзади – те, для кого он шел на опасное дело. На балконах горожанки вывесили ковры. Друг на дружку не смотрят, красуются. Женщина стоит с младенцем, погрузилась в свое материнство. Ну – ей разрешается. Пьяница на мостовой грохнулся и спит. Вдали, посмотри, два философа прогуливаются в мантиях. Беседуют. Солнце ходит вокруг Земли или Земля вокруг Солнца? Возможно ли самозарождение мышей в кувшине с грязным бельем и зернами пшеницы? Ничего еще не доказали, а в мантию уже влезли. А вот тут, справа, два военных. Беседуют о том, как провели вчера ночь. «Канальство, – один говорит. – В пух проигрался, туды его... Но выпивка была знатная. Еле дорогу нашел в казарму». И другой что-то серьезно толкует. А тут человек умирает, в самом центре площади. И все, видишь, ухитряются этого не замечать! Им до лампочки, Федька. Абсолютно до лампочки всем, что кто-то там...

– Но ведь полторы-то тысячи крестил? Значит, не всем.

– Утешайся! Некрещеных-то больше, Федя. Возьми эту картину себе в башку, как я взяла. И наблюдай жизнь. Когда жгли у вас книги на хоздворе, я все время смотрела на эту картину.

Действительно, картина была значительная, и написал ее художник, знающий горькие стороны жизни.

– По-моему, в замысел художника входила еще одна вещь, – сказал Федор Иванович.

– Давай сначала еще по одной, потом расскажешь, – сказала Туманова.

Они выпили. Антонина Прокофьевна, закусив губу, смотрела некоторое время в сторону, потом, как ни в чем не бывало, с улыбкой обернулась к нему.

– Ну, давай, рассказывай про замысел.

– Ведь он находится в стане язычников, Антонина Прокофьевна! Они его считают чем-то вроде вейсманиста-морганиста, а сами, разумеется, владеют конечным знанием! А он свой свет не хочет уступать. По-моему, вы, когда у нас книги горели, чувствовали именно эту сторону картины.

– Многое я чувствовала, Федяка. Ты ешь колбасу.

– Антонина Прокофьевна! Что я вижу!

– Это ты хорошо сформулировал. Во стане язычников. Это я упустила из виду.

– Что я вижу, Антонина Прокофьевна! Как вошел – сразу увидел. Желтенький куда дела?

– А что же мне его – на бал? Продала. Моего болвана выручать пришлось. И не знал ведь, а над его завитой башкой туча собиралась. Да еще какая, Феденька. С молниями. Вон, видишь, под стеной эта тучка... Я выкупила ее.

И он увидел в стороне под стеной сосновый некрашенный сундучок деревенской работы, сделанный, наверно, полвека назад. Крышка его была разделена трещиной на две половинки. Федор Иванович вскочил было – хотел посмотреть поближе, поднять крышку. Но Туманова тронула его властной рукой.

– На-а место! Заглядывать туда нельзя. Там сидит джинн.

– По-моему, тебе его Кеша Кондаков подарил. А?

– Подарил! – она усмехнулась. – Ничего себе подарил! За пятьсот целковых. Ты сундучок, значит, видел у него? Сволочь какая, говорил, что ни одна душа... Я же отвалила ему не за деревяшки, а за тайну...

– Нет, Антонина Прокофьевна. Я у него сундучка не видел. Только слышал о нем. Историю этого сундучка.

– Я давала ему сначала сто. Нет, говорит, в деньгах такие вещи не оцениваются. Это же историческая ценность! Я даже стихи написал. Ну, на тебе тогда двести за историческую ценность. И триста за стихи. Сразу притащил.

– Стихи я знаю. Был Бревешковым – стал Красновым, был Прохором, теперь ты – Ким.

– Откуда узнал?

– Он сам мне на улице...

– Трепло, – прошипела Туманова, ударив кулачком с перстнями по подушке. – Трепло вонючее на дамских каблуках. И бабник страшный. Которая понравится – та и его. Как мой... А стихи писать умеет...

Они умолкли. Федор Иванович опять взял в руки рамку с литографией.

– А что, твой Краснов – боится грехов своей молодости?

– У него и сейчас их хватает. Только теперешние способствуют карьере, а старые могут отразиться...

– Так, наверно, все давно известно там, где интересуются. И о папаше Бревешкове, и о верном сынке.

– Может, и знают. А, может, и не все. Может, знают, а делают вид, что не знают. А тут как пойдет такая легенда про сундучок, и не хочешь, а придется заинтересоваться. В анкетах он писал кое-что, а от меня, когда ухаживал, утаил.

– Оч-чень интересно, – задумчиво сказал Федор Иванович.

– Хочешь, приятное тебе скажу? Ваши биологические дамы все время держат тебя на прицеле. Наблюдают и делятся. Тут мы недавно с Леночкой о тебе хорошо потолковали. С маленькой этой, с Блажко. Что у меня тогда с Троллейбусом была. По-омнишь?

– Кажется, припоминаю...

– Все расспрашивала, откуда я тебя знаю, да каков ты с изнанки, был ли женат? Был ли женат!

– Она должна на меня смотреть, как на пугало. Ведь я здесь отличился!

– Да, Федя, ты отличился. Мы об этом тоже говорили. Она сказала: «У нас некоторые считают, что он опасен. Я тоже сначала так думала». Я как почувствовала этот ее интерес, сразу стала на твою защиту. А что, говорю, он должен был делать? Это же его служебный долг! Вот полковник у нас есть из шестьдесят второго дома, Свешников. Что же ему – в адвокаты теперь? Кто-то и там нужен. На то и шука в море, чтоб ваш, детка, карась не дремал! Видишь, как я за тебя. Цени-и!

– Да-а... Шука – это ты хорошо. Это очень лестно.

– А почему ты, Федяка, до сих пор не женился?

– Армия и война. Я ведь только в прошлом году бросил костыль.

– Ну, я тебя здесь женю. Побудешь еще месяца три – жену в Москву увезешь. А меня ты должен пожалеть, слышишь? И пресечь этого поганого поэта. Чтоб не распространялся.

– А что тебе этот Краснов?

– Сначала стань женщиной, потом попади в мое положение, тогда поймешь. У меня даже сына нет! Сейчас это для тебя – семь печатей. Хотя ты и понимаешь добро и зло. Так и не рассказал мне про свое историческое доказательство. Дядику Борику рассказал, а мне нет.

– Ну, здесь все совсем просто. Только того, что под носом, никогда не видят. У нас говорят об относительности добра и зла. Мол, в одном месте это считается злом, а в другом – доб-

ром. Вчера – зло, сегодня – добро. Энциклопедия, словари, учебники – все так. Но это все далеко, далеко не так. Нельзя говорить «вчера», «сегодня», если о зле или добре. Что провозглашалось вчера как добро, могло быть замаскированным злом. А сегодня с него сорвали маску. Так что и вчера и сегодня это было одно и то же. Всем видное вчера зло может перейти в наши времена и остаться тем же злом, но наденет хорошенькую масочку и будет причинять страдания. Был Бревешковым – стал Красновым, чувствуешь? А дурачки будут думать, что перед ними сплошная справедливость, чистейшее добро. Практика жизни установила, Антонина Прокофьевна, точно установила, что зло и вчера и сегодня было и будет одно и то же. Нечего запутывать дело! И вчера и сегодня оно выступало в виде умысла, направленного против другого человека, чтоб причинить ему страдание. Практика жизни с самых первых шагов человека во всех делах ищет прежде всего цель делающего. Я бы сказал, первоцель. Она смотрит: кто получает от поступка удовольствие, а кто от того же дела страдает. С самого начала начал – три тысячи лет назад в самых первых законах был уже записан злой умысел. Злой! Он уже был замечен человеком и отделен от неосторожности, в которой злого умысла нет. И этот злой умысел так и переходит без изменений из столетия в столетие, из закона в закон. Вот это и есть факт, доказывающий историческую неизменяемость зла. Безвариантность, как говорит Вонлярлярский.

– Я не согласна, Федя. Раб восстает против эксплуататора и убивает его. Он причиняет страдание, а прав!

– Нет, Антонина Прокофьевна. Он освобождается от своего страдания, причиненного ему злым умыслом рабовладельца. У Гоголя есть атаман Мосий Шило. Когда турки захватили его вместе с казаками в рабство, он прикинулся верным слугой паши и настолько, что свои возненавидели его. А когда вошел в полное доверие, отпер замки на цепях прикованных к галере казаков и дал им сабли, чтоб рубили врага. Все, что делал Мосий Шило, имеет знак плюс. Потому что этому предшествовало страдание, причиненное казакам, которых турки захватили в рабство и морили голодом. Так что раб прав, Антонина Прокофьевна! Эти отношения можно даже математически выразить. Если переносишь член уравнения с правой стороны на левую, он меняет знак. Что было здесь минусом, там – плюс!

– Дай, обдумаю. Ага, уравнение... Все правильно. Знаешь, почему я об этом обо всем тебя спрашиваю? После той нашей беседы я все пробую приложить... Я под твоим углом зрения, Федяка, рассматриваю своего остолопа, все его поведение...

Она умолкла. И Федор Иванович молчал, только двигал бровью.

– И я нахожу, что он всегда был редкая сволочь. Не стал в результате воспитания, а вопреки ему всегда стойко пребывал самим собой. Такой ухагор – иногда был как сахар. Но всегда ждал условий для проявления подлости. Я тебя должна, Федяка, предупредить. Как бы он тебе... не причинил страдания. Он ведь там, у вас, работает.

– Знаю, Антонина Прокофьевна, уже давно почуял. А зачем он мячик тискает?

– О-о, это у него серьезное занятие. Кулак развивает. Ему же нужен кулачище, а он у него с изъясном, расскажу тебе как-нибудь. Давай-ка, Федя, налей... Залью свои угольки...

И еще прошли сутки. В химическом стакане теперь кипела буря – там бился о стенки плотный рой, по дну стакана скакали и сталкивались десятки бескрылых мушек. На третий день в институте, проходя мимо цитологической лаборатории, Федор Иванович увидел через открытую настежь дверь Елену Владимировну, и, как всегда в последнее время, прохладно, мимолетно, кивнул ей. Кивнула и она и продолжала свой разговор с молоденькими лаборантками. Больше он ее в этот день на работе не видел. Идя домой, он ломал голову: придет ли? Ведь приглашение он сегодня не повторил. И еще: нужно ли купить цветы? Нет, после всего, что ему стало известно, нельзя. Это вызовет недоумение. Она так хорошо умеет пожать плечами. Конфеты? Это то же, что и цветы...

Он все-таки купил небольшую коробку сливочных помадок, белый батон и триста граммов масла – все, что нужно для холостяцкого чая. Придя домой, он, чтобы не было похоже на свежую покупку, съел несколько помадок и не почувствовал их вкуса. Оставшиеся встряхнул в коробке. Все припасы спрятал в письменный стол, поставил на электрическую плитку полный алюминиевый чайник, закурил и лег на койку. Выкурив одну папиросу, тут же взял другую. «Вот как неожиданно попался! – подумал он. – Прямо заболел! – И замер, усиленно дымя. – Сейчас придет – надо опомниться, взять себя в руки. Надо выстоять этот единственный и последний раз. Стригалева хороший человек, он сильно похож на того, на геолога. Как бы от его имени явился получать долг. Подбивать под него клин – позор и свинство, и вообще невозможное дело. И потом здесь будет действовать автоматика – там ведь тоже понимают, и чем больше будешь навязываться, тем отвратительнее предстанешь. Клин! Тьфу!» – он мысленно даже плюнул себе в физиономию и потянулся за третьей папиросой.

– Да, да! – он вскочил с койки, услышав легкий стук в дверь, и бросился открывать окно, чтобы вытянуло дым.

– Это я, – сказала она, входя, как врач к больному – серьезная и официально-приветливая. Быстро огляделась, поставила на стол флакончик из-под духов – с эфиром. Жестом пригласила приступить к делу.

– Вот они, – сказал Федор Иванович, ставя на стол химический стакан с мушками. – По моему, и так уже видно, что монахи прав.

– «Видно» – это еще не доказательство. Вот когда мы подсчитаем... Я уже десятки раз считала и каждый раз... Всегда подхожу к этому подсчету, как к чуду. Это «один к трем» – всегда руки дрожат!

– У меня тоже что-то вот тут... – Федор Иванович показал туда, где у него была ямка между шеей и грудью. – Я-то никогда еще не считал. Скажу вам, что вообще я впервые буду держать в руках... видимо, настоящие объективные данные.

– Видимо? – спросила она, поведя на него повеселевшими глазами. – Хотя да, вы ведь не верите, вам надо знать. Мы их сейчас усыпим, – она наклонила флакон над ватой в горловине стакана. Пряно запахло эфиром. – Капнем им сейчас... Есть у вас чистая бумага? Подстелите скорее вот сюда. Вот так...

И, вынув из стакана вату, она вытряхнула на белый лист мгновенно уснувших мушек, похожих на горсточку проса.

– Вы проводите эксперимент – вы и считайте.

Федор Иванович начал передвигать мушек кончиком карандаша, отделяя крылатых от бескрылых.

– Сорок восемь, сорок девять, – шептал он, шевеля бровью и сопя.

– Побыстрее, а то начнут просыпаться!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.